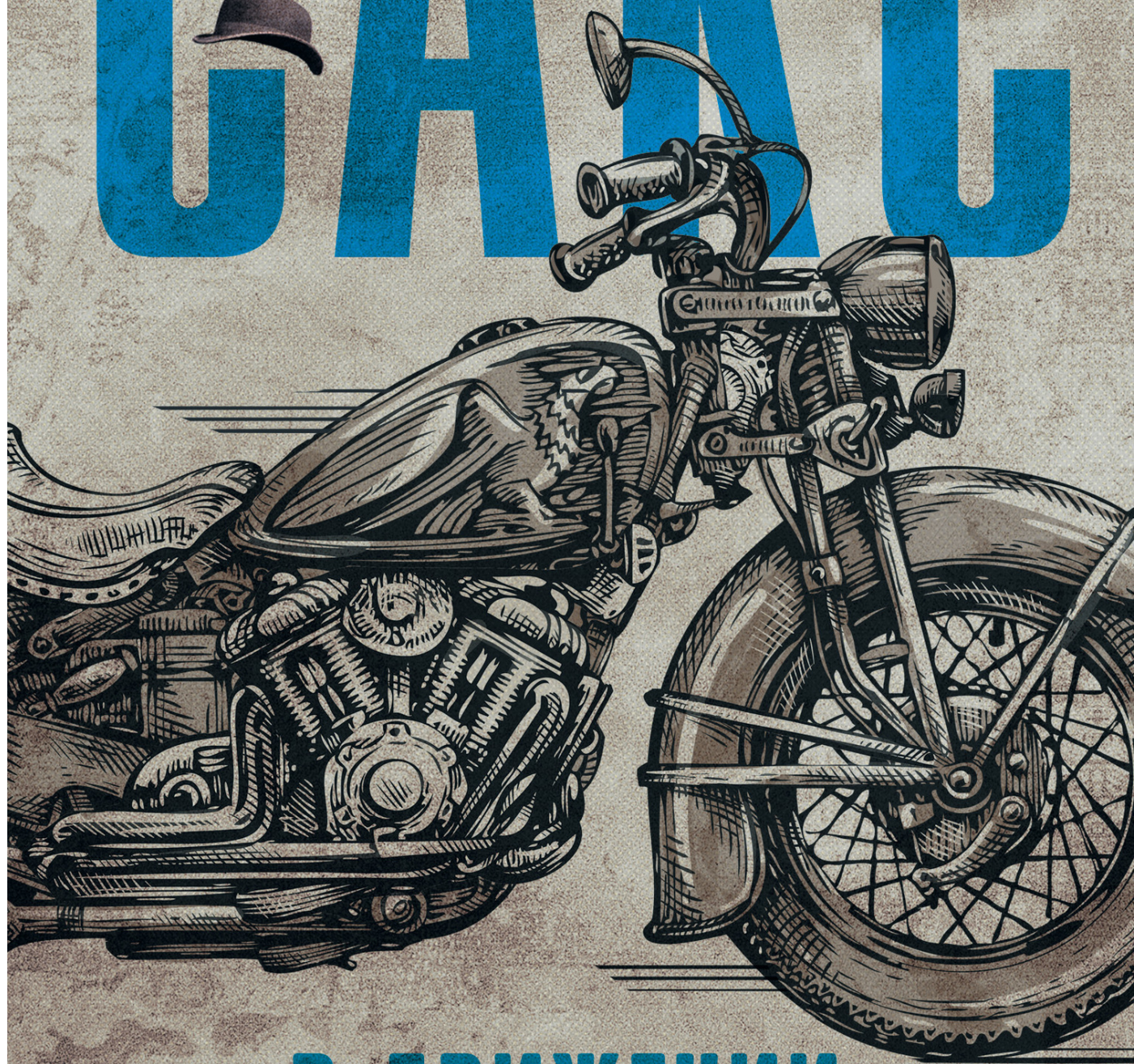


О Л И В Е Р

# САКС



В ДВИЖЕНИИ.  
ИСТОРИЯ ЖИЗНИ

18+



Шляпа Оливера Сакса

Оливер Сакс

**В движении. История жизни**

«Издательство АСТ»

2015

УДК 159.9  
ББК 88.4

**Сакс О.**

В движении. История жизни / О. Сакс — «Издательство АСТ»,  
2015 — (Шляпа Оливера Сакса)

ISBN 978-5-17-091337-4

Оливер Сакс – известный британский невролог, автор ряда популярных книг, переведенных на двадцать языков, две из которых – «Человек, который принял жену за шляпу» и «Антрополог на Марсе» – стали международными бестселлерами. Оливер Сакс рассказал читателям множество удивительных историй своих пациентов, а под конец жизни решился поведать историю собственной жизни, которая поражает воображение ничуть не меньше, чем история человека, который принял жену за шляпу. История жизни Оливера Сакса – это история трудного взросления неординарного мальчика в удушливой провинциальной британской атмосфере середины прошлого века. История молодого невролога, не делавшего разницы между понятиями «жизнь» и «наука». История человека, который смело шел на конфронтацию с научным сообществом, выдвигал смелые теории и ставил на себе рискованные, если не сказать эксцентричные, эксперименты. История одного из самых известных неврологов и нейропсихологов нашего времени – бесстрашного подвижника науки, незаурядной личности и убежденного гуманиста.

УДК 159.9  
ББК 88.4

ISBN 978-5-17-091337-4

© Сакс О., 2015

© Издательство АСТ, 2015

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Вечное движение                   | 7  |
| Я покидаю гнездо                  | 27 |
| Сан-Франциско                     | 38 |
| «Побережье мускулов»              | 52 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 54 |

# Оливер Сакс

## В движении. История жизни

Oliver Sacks

On the Move: Autobiographical Work

© Oliver Sacks, 2015

© Перевод. В. Миловидов, 2015

© Издание на русском языке AST Publishers, 2019

\* \* \*

*Посвящается Билли*

*«Жить нужно, глядя вперед, но понять жизнь можно, только  
оглянувшись назад».*

***Кьеркегор***

## Вечное движение

Во время войны, когда я был совсем маленьким мальчиком, меня заточили в частной школе, итак, лишенный возможности наслаждаться хоть малой толикой независимости, я мечтал о свободе и власти, о сверхсвободе и супервласти. Я чувствовал себя свободным лишь по ночам, когда мне снилось, что я летаю и во время конных прогулок по соседней деревне. Мне полюбились гибкая красота и мощь моей лошади; я до сих пор помню, какая радостная легкость сквозила во всех ее движениях, ощущаю ее тепло и исходящий от нее тонкий запах сена.

Но больше всего я любил мотоциклы. До войны у моего отца был мотоцикл от фирмы Альфреда Скотта под названием «белка-летяга» – большой двигатель с водяным охлаждением и резким, пронзительным выхлопом. Мне тоже хотелось иметь мощный мотоцикл! В моем воображении сливались воедино образы мотоциклов, лошадей и самолетов, равно как и образы мотоциклистов, ковбоев и пилотов – эти парни уверенно справлялись со своими обязанностями, ежесекундно рискуя, но торжествуя над опасностью. Моя детская фантазия питалась вестернами и кинофильмами о героических воздушных боях, где, невзирая на опасность, сражались на «харрикейнах» и «спитфайрах» бесстрашные летчики, защищенные от пуль только своими толстыми летными куртками – как защищали себя от опасности кожаными куртками и шлемами храбрые мотоциклисты.

Когда в 1943 году десятилетним подростком я вернулся в Лондон, любимым моим местом стало окно, возле которого я сидел, пытаясь опознать проносящиеся по улице мотоциклы (после войны с бензином уже не было проблем, и мотоцикл стал обычным средством передвижения). Я мог уже различать с дюжину, а то и больше марок: «эй-джей-эс», «триумф», «би-эс-эй», «нортон», «мэтчлесс», «винсент», «велосетт», «ариэль» и «санбим», а также редкие иноземные машины, такие как «БМВ» и «индианс».

В компании двоюродного брата, моего единомышленника, я регулярно наведывался в «Кристал-Палас», посмотреть мотогонки. Часто на попутках я отправлялся на север Уэльса, в Сноудонию, чтобы ползать по скалам, или в Озерный край, поплавать. Иногда меня подхватывал мотоциклист, и тогда, устроившись на заднем сиденье, я с восторгом представлял, как однажды подо мной окажется собственный сияющий, мощный мотоцикл.

Когда мне исполнилось восемнадцать, у меня появился первый мотоцикл – подержанный «бэнтам» Бирмингемской оружейной компании, с маленьким двухтактным двигателем и, как потом оказалось, неисправными тормозами. В первую поездку я отправился на дорожки Риджентс-парка, и мне там решительно повезло (может быть, только чудом я и остался жив): я дал полный газ, и у меня тут же заклинило дроссель, а тормоза оказались настолько никудышными, что не смогли ни остановить, ни хотя бы замедлить движение мотоцикла. Вокруг Риджентс-парка идет кольцевая дорога, и вот я, верхом на мотоцикле, принялся гонять по ней по кругу, неспособный остановиться. Я кричал пешеходам, чтобы предупредить их о своем приближении, и, после того как сделал два или три полных круга, все уже заранее уступали мне дорогу и, когда я вновь проносился мимо, кричали слова одобрения и поддержки. Я знал, что в конце концов, когда кончится горючее, мотоцикл остановится. После дюжины кругов, сделанных мною вокруг парка, это и произошло: двигатель вдруг зафыркал, коротко всхлипнул и заглох.

Конечно, первым и главным противником того, чтобы я ездил на мотоцикле, была моя мать. Я был готов к этому, но больше всего меня удивило то, что против моего увлечения выступил и отец, который раньше сам гонял на мотоцикле. Поначалу они попытались отвлечь меня от мотоциклов, купив мне маленькую машину «стандарт» 1934 года, которая едва делала сорок миль в час. Я быстро возненавидел малышку и однажды, поддавшись импульсу, продал, использовав вырученные деньги на покупку «бэнтама». Теперь я мог объяснить родителям, что

хилый автомобиль или мотоцикл вполне могут угробить владельца, поскольку у них не хватит мощности, чтобы вытащить его из беды, и что гораздо безопаснее иметь большую мощную машину. Родители с неохотой, но согласились и субсидировали меня на покупку «нортон».

На своем первом «нортоне», машине с двигателем в двести пятьдесят кубиков, я дважды едва не попал в аварию. В первый раз случилось так, что я подлетел к светофору слишком быстро и, понимая, что ни затормозить, ни свернуть я уже не смогу, рванул наперерез двум движущимся навстречу друг другу потокам машин, каким-то чудом проскользнул, а потом, проехав по инерции еще квартал, припарковался в первом же переулке и потерял сознание.

Второй случай произошел ночью, в дождь, на извилистой сельской дороге. Мчавшаяся навстречу машина, не включившая ближний свет, ослепила меня. Я думал, что лобового столкновения не избежать, но в последний момент успел соскочить с мотоцикла (выражение, слишком вялое для описания потенциально фатального маневра, который тем не менее спас мне жизнь). Мотоцикл полетел в одну сторону (он избежал столкновения с машиной, но был полностью разбит), а я – в другую. К счастью, на мне были шлем, тяжелые башмаки и перчатки, а также кожаная куртка и брюки, так что, хотя меня и протащило ярдов двадцать по поливаемой дождем дороге, я был так хорошо защищен одеждой, что не получил ни царапины.

Родители были шокированы, хотя и рады, что я остался цел, а потому не сильно препятствовали моей покупке еще более мощного мотоцикла – «нортон-доминатора» с движком на шестьсот кубиков. К этому времени я уже закончил Оксфорд и должен был переехать в Бирмингем, чтобы первые шесть месяцев 1960 года работать там в качестве хирурга-практиканта. Совсем недавно было открыто шоссе М1 между Бирмингемом и Лондоном, и я заявил, что с новым мощным мотоциклом смогу каждый уикенд приезжать домой. Ограничения скорости на шоссе не было, и весь маршрут занял бы у меня чуть больше часа.

В Бирмингеме я свел дружбу с группой мотоциклистов и вкусил радость принадлежности обществу единомышленников-энтузиастов; до этого я был гонщиком-одиночкой. Места вокруг Бирмингема были девственно-чисты, и особым удовольствием было для меня проехаться до Стрэтфорда-на-Эйвоне и посмотреть какую-нибудь из идущих там пьес Шекспира.

В июне 1960 года я отправился на остров Мэн, посмотреть ежегодные мотогонки «Турист-Трофи», или, как их еще называют, мотогонки «ТТ». Мне удалось раздобыть нарукавную повязку «Скорой помощи», и, проникнув под ее прикрытием в зону для гонщиков, я смог потереться возле них, послушать разговоры и разглядеть многие детали их спортивного быта. Все это я аккуратно записывал, намереваясь сочинить роман о мотогонщиках, участвующих в состязаниях на острове Мэн. Материала я набрал много, но роман с места так и не сдвинулся<sup>1</sup>.

В пятидесятые годы на лондонской Северной кольцевой дороге также не было ограничений по скорости, что было крайне заманчиво для тех, кто любит быструю езду. Там же располагалось знаменитое кафе «Туз», настоящий дом родной для мотоциклистов, владельцев мощных машин. «Сделать тонну», то есть сотню миль в час, было минимальной планкой для тех, кто хотел стать членом клуба «Парни-с-тонной-на-спидаке», этого «закрытого» клуба для избранных.

В ту пору довольно большое количество мотоциклов было способно «сделать тонну», особенно если машины были прокачаны, освобождены от лишнего веса (включая выхлопную трубу) и заправлены высокооктановым горючим. Не менее захватывающим делом были гонки на скорость по второстепенным магистралям, и ты запросто мог получить вызов от кого угодно, едва переступив порог кафе. Правда, излишний риск и демонстрация особой храбрости не

---

<sup>1</sup> В записной книжке, которую я в то время вел, я зафиксировал планы написания пяти романов (включая один про мотоциклистов), а также воспоминаний о своем «химическом отрочестве». Романов я так и не написал, но спустя сорок пять лет сочинил мемуары о дядюшке Вольфраме.



поощрялись, поскольку на Северной кольцевой и в те времена было более чем оживленное движение.

Я никогда особо не рисковал, но обожал гонки на маленьких дорогах. У моего «домми» с цилиндрами объемом шестьсот кубиков был слегка форсированный двигатель, но и в таком виде он не мог соперничать с тысячекубовым «винсентом», основной машиной членов «закрытого» клуба в кафе «Туз». Однажды я попробовал на нем проехаться, но мне он показался слишком неустойчивым, особенно на малых скоростях, и в этом отношении не шел ни в какое сравнение с моим «нортоном», у которого рама была что «пух» и который на любых скоростях демонстрировал чудеса устойчивости. (Мне было интересно: а нельзя ли к «нортону» подвесить движок от «винсента», и через несколько лет я узнал, что такая модель появилась – «норвинс».) Когда были введены ограничения скорости, «делать тонну» было уже нельзя, мы лишились нашего главного удовольствия, и кафе «Туз» утратило для нас свою прелесть.

Когда мне было двенадцать, мой проницательный классный руководитель написал в своем отчете: «Сакс пойдет далеко, если не уйдет *слишком* далеко». И в этом-то было все дело. Мальчиком иногда я слишком далеко заходил в своих химических экспериментах, наполняя весь дом ядовитыми газами. К счастью, сжечь дом мне не удалось.

Я любил лыжи, и, когда мне исполнилось шестнадцать, мы с одноклассниками отправились в Австрию покататься с гор. На следующий год я в одиночку поехал в Норвегию, в Телемарк, заняться лыжным кроссом. С лыжами все обошлось лучшим образом, но перед тем, как сесть на паром, идущий в Англию, в магазине дьюти-фри я купил пару литров скандинавской тминной водки, а потом пошел через норвежский пункт пограничного контроля. Что касается норвежских правил, то вывезти я мог сколько угодно бутылок, но ввезти в Англию (так мне сказали норвежские таможенники) я мог только одну, и вторую английская таможня была обязана конфисковать. Сжав в руках бутылки, я поднялся на корабль и отправился на верхнюю палубу. Стоял удивительно ясный и очень холодный день, но холод меня не страшил, поскольку на мне был теплый лыжный костюм. Все пассажиры укрылись внутри парома, я же в гордом одиночестве расположился на верхней палубе.

У меня была книга – я медленно, со вкусом, читал «Улисса» – и моя тминная водка; ничто так не согревает изнутри, как алкоголь. Убаюкиваемый нежно-гипнотическим подрагиванием корабля, я сидел на палубе, погрузившись в книгу и время от времени потягивая спиртное, и через некоторое время с удивлением обнаружил, что выпил небольшими порциями почти полбутылки. Эффекта я не заметил, а потому продолжал читать и потягивать из уже более чем наполовину опустошенной бутылки. Удивлению моему не было предела, когда я почувствовал, что паром причаливает; оказывается, я был так поглощен «Улиссом», что не заметил течения времени. Бутылка была уже пуста, результата я по-прежнему не ощущал. Наверняка, думал я, водка оказалась слабее, чем должна быть, хотя на этикетке было указано содержание спирта – 50 градусов. Ничего странного я не почувствовал, пока не встал на ноги и тут же упал лицом вниз. Меня это страшно удивило! Неужели корабль неожиданно сделал резкий маневр? Я снова встал и снова растянулся.

Теперь до меня стало доходить, что я пьян, пьян в стельку, хотя алкоголь, вероятнее всего, поразил только мозжечок. Когда на палубу поднялся матрос, проверить, все ли пассажиры покинули паром, он столкнулся со мной: я отчаянно пытался передвигаться, помогая себе лыжными палками. Позвав на помощь другого матроса, мой спаситель проводил меня к выходу. Хотя я и с трудом стоял на ногах, привлекая всеобщее (главным образом, добродушно-оживленное) внимание, но ощущал гордость: я победил систему, покинув Норвегию с двумя бутылками водки, а в Англию приехав с одной. Я обманул таможню Соединенного Королевства ровно на одну бутылку, которую, уверен, английские таможенники с удовольствием употребили бы сами.

1951 год был полон событий, причем достаточно печальных. В марте умерла тетушка Бёрди, которая была постоянной спутницей моего существования с самого рождения; и мы все ее любили беззаветно. Бёрди была хрупкой женщиной, довольно скромных умственных способностей, чем отличалась от прочих братьев и сестер матери. Говорили, что в детстве тетушка получила травму, которая сказалась на функции ее щитовидной железы. Но все это не имело никакого значения – Бёрди была просто Бёрди, неотъемлемой частью нашей семьи. Смерть ее произвела на меня неизгладимое впечатление, и, вероятно, я только тогда понял, как тесно жизнь тетушки была связана с моей, с жизнью каждого из нас. Когда за несколько месяцев до печального события я получил из Оксфорда известие, что выиграл стипендию, именно тетушка Бёрди передала мне телеграмму, обняла и поздравила, одновременно всплакнув – она понимала, что мне, младшему из ее племянников, предстоит вскоре покинуть родной дом.

В Оксфорд мне предстояло отправиться в конце лета. Мне только исполнилось восемнадцать, и отец решил, что настало время ему серьезно поговорить со мной, как отцу с сыном. Мы поговорили о том, сколько он мне будет высылать, но с этим разобрались быстро, поскольку я был достаточно бережлив и единственной моей страстью были книги, на которые я денег не жалел. Потом отец перешел к теме, которая его действительно волновала.

– У тебя не так уж много подружек, сынок, – вопросительно посмотрев на меня, сказал он. – Ты плохо относишься к девушкам? Они тебе не нравятся?

– Да почему? Нормально отношусь, – ответил я, желая, чтобы разговор прекратился как можно скорее.

– Может быть, ты предпочитаешь мальчиков? – настаивал отец.

– Да, это так, – признался я. И поспешно добавил, со страхом: – Но только в душе. Ничего такого я не делал... И не говори маме, пожалуйста, она не поймет.

Но отец рассказал ей, и на следующее утро мать спустилась в гостиную с лицом, предвещавшим бурю, какого я у нее не видел никогда.

– Ты омерзителен, – произнесла она. – Напрасно я тебя родила.

Потом она ушла и не разговаривала со мной несколько дней. Когда наконец она прервала молчание, то уже не напоминала об этом (не возвращалась она к разговору и потом), но что-то в наших отношениях изменилось. Моя мать, такая открытая, готовая помочь и утешить в прочих случаях жизни, в отношении моих симпатий была жесткой и неумолимой. Любившая, как и отец, читать Библию, она обожала псалмы и стихи Соломоновой «Песни песней»; но помнила она и ужасные строки из книги Левит:

«Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это мерзость».

Родители мои, будучи оба врачами, имели в своей библиотеке много медицинских книг, в том числе и по сексопатологии. К двенадцати годам я уже проштудировал книги Крафт-Эбинга, Хиршфельда, Хэвлока Эллиса. Но мне трудно было признать, что моя жизнь может быть сведена к некоему «состоянию», а личность – к имени или диагнозу. В школе друзья знали, что я «отличаюсь» от них – хотя бы потому, что я избегал вечеринок, которые заканчивались тем, что парни начинали лапать девочек и нежничать с ними.

Зарывшись в книги по химии, а потом и биологии, я не очень замечал то, что происходило вокруг или внутри меня. В школе я так ни с кем и не «закрутил» (хотя и испытал сильнейшее возбуждение, когда на лестничной площадке впервые увидел полномасштабную копию знаменитой скульптуры обнаженного Лаокоона, мускулистого троянца, который пытается спасти сыновей от змей, посланных Афиной). Я знал, что у некоторых людей сама идея возможности гомосексуальных отношений вызывает ужас. Подозреваю, что именно так дело обстояло с моей матерью, почему я и попросил отца ничего ей не говорить. Наверное, мне не стоило посвящать в это и отца, поскольку я полагаю, что моя сексуальность – всецело моя забота.

Она ни для кого не является секретом, зачем же о ней трепаться попусту? Мои ближайшие друзья, Эрик и Джонатан, знают о моей особенности, но мы никогда не обсуждали этот вопрос. А Джонатан вообще говорит, что считает меня «асексуальным».

Все мы – продукт воспитания, культуры нашего времени. И мне не стоило постоянно напоминать себе, что моя мать родилась в 1890 году и получила ортодоксальное воспитание, а в Англии в 1950-е годы гомосексуализм считался не только извращением, но и уголовным преступлением. Я должен был также помнить о том, что секс является одной из таких областей бытия – так же, как религия и политика, – где в остальном вполне приличные и рационально мыслящие люди могут стать жертвой совершенно иррациональных предубеждений. Конечно, моя мать совсем не хотела, чтобы я умер – в буквальном смысле. Просто на нее внезапно «нашло», как я сейчас понимаю, а потом она пожалела о сказанном, и, вероятно, запрятала эти слова в самые потаенные уголки своего сознания.

Но сказанное матерью не оставляло меня на протяжении значительного периода моей жизни, оно культивировало во мне чувство вины и в значительной степени сдерживало то, что должно было быть свободным и радостным выражением сексуальности.

Мой брат Дэвид и его жена Лили, узнав об отсутствии у меня сексуального опыта, решили, что я страдаю от излишней застенчивости и что хорошая женщина, даже просто хороший секс приведут меня в полный порядок. Во время рождественских каникул 1951 года, после моего первого семестра в Оксфорде, они повезли меня в Париж с намерением не только посмотреть достопримечательности – Лувр, Нотр-Дам, Эйфелеву башню, – но и отвести меня к какой-нибудь отзывчивой профессионалке, которая смогла бы определить, на что я способен, а также умело и терпеливо обучить меня основам сексуального поведения.

Была выбрана проститутка подходящего возраста и характера, с которой Дэвид и Лили сначала провели собеседование, объяснив, что и как. Потом в комнату запустили меня. Я был так напуган, что мой петушок превратился в жалкую тряпочку, а яички попытались укрыться в глубине брюшной полости.

Проститутка, которая была похожа на одну из моих тетюшек, с ходу разобралась в ситуации. Она хорошо говорила по-английски (это был один из критериев отбора) и сказала:

– Не волнуйся! Выпьем-ка лучше чаю.

Она достала чайные принадлежности, тарелку маленьких пирожных с кремом, поставила чайник и спросила, какой чай я предпочитаю.

– «Лапсанг», – отозвался я. – Мне нравится, что он с дымком, как бы подкопченный.

К этому моменту я уже восстановил голос и обрел уверенность в себе, и мы мило болтали, попивая наш чай «с дымком».

Пробыв полчаса, я ушел. Брат с женой ожидали меня снаружи.

– Ну как, Оливер? – спросил Дэвид.

– Потрясающе, – ответил я, стряхивая крошки с бороды.

Ко времени, когда мне исполнилось четырнадцать, все уже знали, что я должен стать врачом. Врачами были отец, мать и мои старшие братья.

Я же не был уверен, хочу ли продолжить семейную традицию. Не слишком привлекала меня и перспектива стать химиком – теперь химия далеко ушла от популярной в восемнадцатом и девятнадцатом веках неорганической химии, которую я так любил. Но в четырнадцать-пятнадцать лет, воодушевленный примером школьного учителя биологии, а также романом Стейнбека «Консервный ряд», я решил, что хочу стать специалистом по биологии моря.

Когда же я выиграл стипендию в Оксфорде, передо мной встал выбор: сконцентрироваться на зоологии или пойти на подготовительный факультет при медицинском колледже и

заняться анатомией, биохимией и физиологией. Больше всего меня привлекала физиология восприятия: каким образом мы видим и различаем цвет, глубину, движение. Как мы вообще все различаем и узнаем? Каким образом происходит осмысленная визуализация мира? Эти вопросы меня интересовали с детства, и пришел я к ним благодаря терзавшей меня время от времени офтальмической мигрени, потому что, помимо сверкающих зигзагообразных полос, которые я видел во время приступа, развитие ауры сопровождалось утратой восприятия цвета, глубины и движения, а иногда – полной неспособностью распознавать внешние объекты. Образ мира, лежащего перед моими глазами, мог быть разрушен, подвергнут деконструкции, что одновременно пугало меня и восхищало, а затем восстановлен и реконструирован – и все это в течение нескольких минут.

Моя маленькая домашняя химическая лаборатория одновременно стала и фотолабораторией, а особой любовью у меня пользовались цветная фотография и стереофотография. Занимаясь ими, я продолжал размышлять над тем, как мозг конструирует образ цвета и глубины. Мне нравилась биология моря – так же, как когда-то нравилась химия, – но теперь я хотел понять, как работает человеческий мозг.

У меня никогда не было особой уверенности в своих интеллектуальных способностях, хотя меня и считали сообразительным. Как и оба моих школьных приятеля, Джонатан Миллер и Эрик Корн, я был одержим наукой и литературой. Я благоговел перед интеллектом Джона-тана и Эрика и совсем не думал, что они станут со мной водиться, но оказалось, что все мы получили стипендию от университета. Потом у меня начались трудности.

В Оксфорде при поступлении ты должен сдать «предварительный» экзамен; для меня это была формальность, поскольку стипендия у меня уже имелаась. Но я провалил экзамен. Сделал вторую попытку, и вновь неудачно. И в третий раз, отправившись сдавать, я потерпел поражение. Тогда-то мистер Джонс, проректор, отвел меня в сторону и спросил:

– Сакс! Вы же подготовили отличные вступительные работы. Почему вы раз за разом проваливаете этот дурацкий экзамен?

Вопрос остался без ответа.

– Ну что же, – сказал проректор. – Даем вам последний шанс.

Я пошел на экзамен в четвертый раз, и наконец все у меня получилось.

В колледже Святого Павла, где я до этого учился вместе с Эриком и Джонатаном, мы получали удовольствие от преподававшейся там неназойливой смеси гуманитарных и точных наук. Я был президентом литературного общества и одновременно секретарем ботанического клуба. Подобные комбинации были гораздо менее осуществимы в Оксфорде, где факультет анатомии, научные лаборатории и библиотека Рэдклиффа находились поблизости друг от друга, на Саут-Парк-роуд, но довольно далеко от университетских лекционных аудиторий и колледжей, что было причиной формирования и физической, и социальной дистанции между теми из нас, кто занимался точными науками или учился на подготовительных отделениях, и остальным университетом.

Особенно остро я это чувствовал во время своего первого семестра в Оксфорде. Нам было дано задание написать эссе и передать их нашим наставникам, что предполагало долгие часы, проведенные в научной библиотеке Рэдклиффа. Там мы читали научные труды, листали газеты, выбирая то, что казалось нам наиболее важным, чтобы потом представить результаты наших исследований в интересной и оригинальной форме. Я получал огромное удовольствие от чтения работ по нейрофизиологии – передо мной открывалась совершенно новая область знания, но в то же время я все больше понимал, что из моей жизни уходит многое ценное. Я почти ничего не читал за пределами научной литературы, кроме «Биографических очерков» Мейнарда Кейнса, и очень хотел написать собственные «Биографические очерки», правда, с



клиническим уклоном: мои эссе должны были представить людей, наделенных либо необычными слабостями, либо необычной силой, и показать, как эти качества влияют на их жизнь. То, о чем я думал, могло стать серией клинических биографий, неким собранием клинических исследований, клинических случаев.

Моим первым (и, в этом случае, единственным) объектом стал Теодор Хук, на чье имя я набрел, читая биографию Сиднея Смита, великого викторианского мыслителя. Хук, живший лет за двадцать до Смита, также был признанным мыслителем и мастером диалога, но, кроме этого, был он и непревзойденным по силе музыкального дара сочинителем. Известно, что Хук сочинил более пятисот опер – сидя за фортепиано, импровизируя и исполняя все без исключения партии. Это были цветы быстротекущего мгновения – удивительные, прекрасные и эфемерные; Хук импровизировал на месте, никогда не повторяя своих произведений и не записывая сочиненного, – вскоре они забывались, а затем и окончательно были забыты. Я был очарован описанием этого гения импровизации! Какой мозг мог позволить себе такие чудеса?

Я принялся читать все, что было написано о Хуке, а также книги, принадлежавшие его перу. Эти творения показались мне скучными и вымученными – полный контраст с тем, что было написано о его быстрых, как молнии, удивительно изобретательных импровизациях. Я много думал о Хуке и к концу осеннего семестра написал о нем очерк на шесть полноформатных листов убористой печатью, объемом в четыре или пять тысяч слов.

Недавно я нашел очерк в ящике, где лежали и другие мои ранние работы. Читая текст, я был поражен уверенностью изложения, эрудицией, возвышенностью стиля и некоторой претенциозностью. Это совсем не было похоже на мой стиль письма. Может быть, я переписал куски чужих текстов из полудюжины источников, а потом аккуратно соединил их? Или все-таки это был мой текст, исполненный стилем истинного профессионала, которым я тогда уже стал, несмотря на юный возраст?

Но все-таки о Хуке я писал ради развлечения. Основные мои работы касались физиологии, и я должен был еженедельно подавать их своему наставнику. Когда я занялся вопросами, связанными со слухом, я был так воодушевлен, так много читал и думал, что у меня совсем не осталось времени на написание работы. Но в назначенный день я появился перед наставником с блокнотом и начал импровизировать текст, притворяясь, будто читаю его. В одном месте Картер (доктор С. У. Картер, мой наставник в Королевском колледже) прервал меня.

– Я потерял мысль, – сказал он. – Прочтите, пожалуйста, снова.

Немного нервничая, я попытался повторить несколько последних предложений. Картер изобразил недоумение.

– Позвольте взглянуть, – попросил он и протянул руку.

Я передал пустой блокнот.

– Замечательно, Сакс, – проговорил Картер. – Превосходно. Но в будущем потрудитесь записывать свои размышления.

В Оксфорде я имел доступ не только в научную библиотеку Рэдклиффа, но и в Бодлианскую библиотеку – замечательное собрание книг и рукописей, история которого восходит к 1602 году. Именно в ней я набрел на ныне забытые труды Хука. Никакая другая библиотека, за исключением Библиотеки Британского музея, не могла предоставить мне нужные материалы, а царившая там умиротворенная атмосфера создавала замечательные условия для того, кто собирался что-либо писать.

Но самой любимой моей библиотекой в Оксфорде была библиотека Королевского колледжа. Великолепное здание библиотеки, как нам сказали, было спроектировано Кристофером Реном, а под ним, в подземных лабиринтах, где книжные полки соседствовали с трубами отопления, располагались библиотечные фонды.

Держать в руках древние книги, так называемые инкунабулы, было связано для меня с совершенно новыми переживаниями. Особенной любовью у меня пользовались богато иллюстрированная книга Конрада Геснера «Истории животных» (1551) – туда были включены знаменитые рисунки носорога, принадлежавшие Альбрехту Дюреру, – и четырехтомник Луи Агассиса, посвященный ископаемым рыбам. В книгохранилище я видел все первые издания книг Дарвина, и там же я влюбился в работы сэра Томаса Брауна – в его «Вероисповедание врачей», «Гидриотафию, или Погребение в урнах» и «Сад Кира» («Квинкунксиальный квадрат»). Сколько абсурдного было в этих книгах! Но какой стиль! А если временами вам начинало казаться избыточным высокопарное красноречие сэра Брауна, вы могли быстро переключиться на лапидарный стиль и энергичный напор прозы доктора Свифта, чьи книги также находились здесь и, естественно, в своих первых изданиях. Дома я воспитывался на любимых родителями авторах девятнадцатого века; здесь же, в катакомбах библиотеки Королевского колледжа, я приобщился к литературе веков семнадцатого и восемнадцатого – к Джонсону, Юму, Гиббону и Поупу. Все эти книги находились в свободном доступе – не в каком-нибудь особом закрытом хранилище, а стояли прямо на полках, – как стояли, полагал я, с того самого момента, когда вышли из печати. Именно в подвалах Королевского колледжа пустили во мне ростки чувство истории и чувство родного языка.

Моя мать, хирург и блестящий знаток анатомии, смирилась с тем, что я был слишком неуклюж, чтобы пойти по ее стопам в хирургии, но надеялась, что в Оксфорде я достигну высот хотя бы в анатомии. Мы препарировали трупы, слушали лекции и через два года должны были сдать итоговый экзамен. Когда результаты были обнародованы, я обнаружил, что оказался в списке вторым от хвоста. Опасаясь бурной реакции матери, я решил, что пара глотков спиртного мне не помешает. Дойдя до своего любимого паба «Белая лошадь» на Брод-стрит, я залил в себя четыре или пять пинт сидра – гораздо более крепкого, чем пиво, и гораздо более дешевого.

Когда в изрядном подпитии я вышел из «Белой лошади», в голову мне пришла безумная и довольно наглая идея. Свое провальное выступление на итоговом экзамене по анатомии я заглажу тем, что сдам экзамен на престижную университетскую награду – приз Теодора Уильямса по отделению анатомии человека. Экзамен уже начался, но я, безумно храбрый от выпитого, проник в экзаменационный зал и, усевшись за стол, уткнулся в экзаменационное задание.

Ответить нужно было на семь вопросов. Я ухватился за один из них («Подразумевают ли структурные различия также и различия функциональные?») и без остановки писал на эту тему в течение двух часов, мобилизовав в ответе все сведения из зоологии и ботаники, которые у меня имелись. И ушел за час до окончания экзамена, проигнорировав оставшиеся шесть вопросов.

В конце недели результаты появились в «Таймс». Награду выиграл Оливер Сакс. Ошеломлены были все: как мог человек, с трудом сдавший экзамен по анатомии, получить приз Теодора Уильямса? Я же не очень удивился: повторилось то, правда с точностью до наоборот, что случилось на «предварительных» экзаменах в Оксфорд. Я отличаюсь поразительной тупостью на экзаменах, где нужно дать либо положительный, либо отрицательный ответ, когда же требуется написать эссе, я по-настоящему расправляю крылья.

Победа принесла мне пятьдесят фунтов. Столько денег сразу у меня никогда не было. Но на этот раз я пошел не в «Белую лошадь», а в книжный магазин «Блэквелл», в доме рядом с пабом, и за сорок четыре фунта купил двенадцать томов Оксфордского словаря, который был для меня самой желанной книгой в мире. Когда я поступил на медицинское отделение, я прочитал его от корки до корки, но и сейчас время от времени я люблю взять какой-нибудь из томов словаря и почитать на сон грядущий.

Ближайшим другом моим в Оксфорде был Кэлман Коэн, стипендиат фонда Сесилия Родса, молодой специалист по математической логике. До этого мне не приходилось иметь дело с людьми, чьей специальностью была логика; теперь же, общаясь с Кэлманом, я неизменно испытывал чувство восхищения степенью интеллектуальной концентрации, которую тот демонстрировал. Он был способен сосредоточиваться на проблеме и безостановочно обдумывать ее в течение целой недели; в нем кипела страсть к мышлению, а сам акт мышления – вне зависимости от предмета мысли – возбуждал его до чрезвычайности.

Хотя мы сильно отличались друг от друга, ладили мы хорошо. Кэлмана привлекал мой временами избыточно ассоциативный способ мышления – так же, как меня привлекала дисциплина его ума. Он познакомил меня с Гилбертом и Брауэром, гигантами математической логики, а я его – с Дарвином и великими натуралистами девятнадцатого века.

Мы считаем, что средством и целью науки является открытие, а целью и средством искусств – изобретение. Но существует и «третий мир», мир математики, где первое мистическим образом сосуществует со вторым. Например, возьмем простые числа – они что, существуют в некоем вневременном платоническом пространстве или, как полагал Аристотель, были когда-то изобретены? А как относиться к иррациональным числам, например числу  $\pi$ ? Или к таким воображаемым числам, как квадратный корень от числа 2? Подобные вопросы время от времени беспокоили меня, но я не очень расстраивался, когда осознавал, что ответов мне не найти. Для Кэлмана же подобные проблемы были вопросом жизни и смерти. Он надеялся, что когда-нибудь сможет примирить исповедуемый Брауэром платоновский интуитивизм с верой Гилберта в аристотелевский формальный метод – столь разные, но в то же время комплементарные точки зрения на реалии математики.

Когда я рассказал о Кэле родителям, то они первым делом, узнав, насколько далеко моего друга занесло от дома, пригласили его на уикенд в наш лондонский дом, чтобы он отдохнул в уютной обстановке и отведал домашней еды. Он очень понравился родителям, но мать была крайне возмущена, когда на следующее утро обнаружила, что одна из простыней, на которых спал Кэл, была вся в чернилах – он исписал ее математическими формулами. Когда я объяснил матери, что Кэл – гений и что он использовал нашу простыню для разработки новой теории в математической логике (здесь я немного преувеличивал), ее возмущение сменилось чувством благоговения, и она настояла, чтобы никто не посмел ни стереть формулы, ни выстирать простыню – на тот случай, если в следующий приезд Кэлман пожелает вернуться к своим гениальным заметкам.

До этого Кэлман учился в Рид-колледже в Орегоне, который, как он поведал, был славен своими особо одаренными студентами; он же достиг столь выдающихся успехов, что равных ему в колледже не было много лет. Кэлман сказал об этом так просто и таким скучным тоном, словно говорил о погоде. Это были просто факты – и ничего более. Похоже, он считал меня человеком способным, несмотря на явную неорганизованность и алогичность моего мышления. Кэл полагал, что способные люди обязаны жениться на таких же способных людях и производить на свет способных детей, и с этой мыслью в голове он устроил мне встречу с некой мисс Исаак из Америки, которая также была стипендиаткой фонда Родса. Рэл Джин была спокойной, скромной девушкой, но (как предупредил меня Кэлман) острой, как алмаз, и на протяжении обеда мы только и делали, что обменивались абстракциями. Расстались мы дружески, но потом уж не встречались, да и Кэлман более не пытался найти мне подружку.

Весной 1952 года, во время наших первых долгих каникул, мы с Кэлманом отправились в путешествие автостопом через Францию в Германию. Спали мы в отелях для молодежи и где-то подцепили вшей. Пришлось побрить головы. Один из наших однокашников по Королевскому колледжу, элегантный Герхард Синцхеймер, который проводил летние каникулы с родителями в их доме у озера Титизее в Шварцвальде, пригласил нас погостить. Когда мы с Кэлманом явились, грязные, с бритыми головами и с историей о том, как мы подхватили паразитов,

родители Синцхеймера сразу отправили нас в ванную, а одежду подвергли химической обработке. Проведя несколько мучительных дней с изысканными Синцхеймерами, мы двинули в Вену (которая тогда была в значительной степени Веной «Третьего человека» – фильма Кэрола Рида) и там отведали всех известных человечеству спиртных напитков.

Хотя я и не готовился к получению академической степени по психологии, иногда я ходил на лекции по этому предмету. На отделении психологии я видел Дж. Дж. Гибсона, смелого теоретика и экспериментатора в сфере визуальной психологии, который приехал в Оксфорд в творческий отпуск из Корнелла. Гибсон только что выпустил свою первую книгу, «Восприятие видимого мира», и был рад позволить нам поэкспериментировать со специальными очками (на один глаз и на два сразу), которые переворачивали картинку, которую мы обычно видим. Нет ничего более странного, чем видеть мир поставленным с ног на голову; и тем не менее через несколько дней мозг адаптируется к этому способу видения и переориентирует картинку видимого мира (которая вновь встанет «на голову», когда экспериментатор снимет очки).

Меня увлекали и визуальные иллюзии; они доказывали, насколько бессильны интеллект, интуиция и даже здравый смысл перед нарушениями восприятия. Из опытов с очками Гибсона мне было ясно, что сознание хорошо справляется с оптическими искажениями. Но оказалось, что мозг совершенно неспособен упорядочить восприятие, когда имеет дело с визуальными иллюзиями.

Ричард Сэлидж. Прошло уже шестьдесят лет, но я по-прежнему вижу лицо Ричарда, его гордую осанку – он держал себя как лев. Первый раз я увидел его в Оксфорде в 1953 году возле колледжа Магдалины, и мы разговорились. Подозреваю, что именно Ричард начал беседу, поскольку я слишком стеснителен, чтобы первым вступить в контакт, а в этот раз красота Ричарда сделала меня еще более стеснительным. Во время первого разговора он поведал, что является стипендиатом фонда Родса, что он поэт и что дома в США он изрядно попутешествовал, сменив множество мест работы. Знание мира и людей у Ричарда было куда значительнее, чем у меня, даже если учесть разницу в возрасте (ему было двадцать четыре, мне – двадцать), и гораздо более широкое, чем у большинства выпускников школы, которые сразу поступают в университет, так и не пожив реальной жизнью в период между школой и университетом. Что-то во мне Ричарду показалось интересным, и мы вскоре стали друзьями. Более того – я в него влюбился. В первый раз в своей жизни.

Я полюбил его лицо, тело, ум, поэзию – все, что касалось этого человека. Он часто приносил мне только что написанные стихи, а я в обмен показывал ему свои эссе по физиологии. Думаю, я не единственный, кто влюбился в Ричарда; были и другие – и мужчины, и женщины. Разве можно было не влюбиться в его красоту, замечательные дарования, не заразиться его любовью к жизни! Он много и свободно говорил о себе: о своем ученичестве у поэта Теодора Рётке, о дружбе со многими художниками; он целый год посвятил живописи, пока не понял, что, какими бы талантами он ни был наделен, его главная страсть – поэзия. Ричард постоянно держал в голове образы, слова, стихотворные строки; он целыми месяцами работал над ними сознательно или бессознательно, прежде чем они становились законченным стихотворением или бывали отброшены и забыты. Его стихотворения публиковались в «Энкаунтер», литературном приложении к «Таймс», «Айсис» и «Гранта», и его очень поддерживал сам Стивен Спендер. Я думаю, Ричард был настоящим гением – или же был готов стать гением.

Мы ходили с ним на прогулки, беседуя о поэзии и науках. Ричарду нравилось, когда я «заводился» по поводу химии и биологии или когда я с энтузиазмом говорил о любимых предметах. Тогда робости моей как не бывало. Хотя я и понимал, что влюблен в Ричарда, я опасался признаться в этом: говорила же мать, что это «омерзительно». Но каким-то мистическим, совершенно чудесным образом сам факт влюбленности в человека, подобного Ричарду,

оказался для меня источником гордости и радости. И вот однажды, чувствуя, что сердце у меня готово выпрыгнуть из груди, я сказал Ричарду, что люблю его, даже не представляя, что он на это скажет и как отреагирует. Он обнял меня и сказал:

– Знаю. Я по-другому устроен, но понимаю и очень ценю то, что ты чувствуешь. Тебя я тоже люблю, по-своему.

Меня не отвергли, и сердце мое не было разбито. Ричард сказал то, что должен был сказать, причем сделал это самым деликатным образом. Наша дружба продолжалась и была для нас еще более радостной и приятной, поскольку я безвозвратно похоронил некоторые, ставшие бесполезными, болезненные надежды.

Я надеялся, что дружба будет связывать нас всю жизнь. Ричард, как мне кажется, тоже. Но однажды он пришел в мою университетскую берлогу с видом крайне обеспокоенным. Чуть раньше он заметил припухлость в паху, однако поначалу не придавал этому значения, полагая, что все пройдет само собой. Но постепенно опухоль росла и стала причинять беспокойство. Я учился на подготовительном отделении медицинского колледжа и мог, как он полагал, взглянуть на то, что происходит. Он спустил брюки, и в левом паху я увидел опухоль размером с куриное яйцо. Она была четко очерчена и тверда на ощупь. Первой мыслью было – рак!

– Немедленно покажись доктору, – сказал я. – Нужна биопсия.

Паховую железу подвергли биопсии, и был поставлен диагноз: лимфосаркома. Ричарда известили, что более двух лет ему не протянуть. Сказав мне об этом, мой друг уже со мной не говорил никогда. Ведь это я первым сообщил ему о смертоносном характере его опухоли, и, вероятно, во мне он теперь видел посланника смерти.

Но сдаваться Ричард не собирался. Остаток отпущенного ему времени он решил прожить полной жизнью. Женившись на Мэри О'Хара, арфистке и певице из Ирландии, он отправился в Нью-Йорк, где и умер через пятнадцать месяцев. В последний период жизни он написал многие свои лучшие стихи.

Итоговые экзамены в Оксфорде сдают в конце третьего года. После экзаменов меня оставили заниматься исследовательской работой, и впервые за все время пребывания в университете я почувствовал себя одиноким, поскольку все однокурсники разъехались.

После того как я выиграл приз Теодора Уильямса, мне предложили должность исследователя при отделении анатомии, но я отклонил предложение, несмотря на то, что всегда с восхищением смотрел на профессора анатомии Уилфрида Ле Грос Кларка, человека выдающегося, но чрезвычайно открытого и доступного.

Ле Грос Кларк был отличным преподавателем, раскрывавшим особенности человеческой анатомии с учетом логики ее эволюции, и был в те времена известен своей ролью в разоблачении мистификации, связанной с находкой в 1912 году черепа так называемого Пилтдаунского человека. Но я отказался от работы под его руководством, потому что к тому моменту был соблазнен серией чрезвычайно живых и интересных лекций по истории медицины, которую прочитал университетский специалист по теории питания человека Х. М. Синклер.

Я всегда любил историю, и даже в детские годы, связанные с увлечением химией, меня интересовали прежде всего личность и жизнь химика, а также те конфликты и перипетии, что сопровождали сделанные ученым открытия. Химия меня интересовала как наука, которой занимаются конкретные люди. И теперь, слушая лекции Синклера, я постигал историю физиологии, знакомился с личностями физиологов, их идеями, которые лектор в своих рассказах преподносил как факты человеческой жизни.

Мои друзья, даже мой наставник из Королевского колледжа, пытались предостеречь меня, отговорить от того, что, как они полагали, являлось ошибочным шагом. Отговорить меня было непросто, несмотря на то, что я уже слышал сплетни относительно Синклера; ничего, впрочем, особенного: просто он считался «своеобразной» и достаточно изолированной от других людей фигурой, а университет вроде бы собирался закрыть его лабораторию.



Насколько я ошибся, я понял, когда вступил под сень ЛПЧ – Лаборатории питания человека.

Синклер отличался энциклопедическими знаниями, по крайней мере знаниями историческими, и он предложил мне поработать над тем, о чем я знал только понаслышке. Это был так называемый «джейк-паралич», появившийся во времена «сухого закона» в Америке. В те годы пьяницы, лишившись доступа к нормальному алкоголю, обратились к экстракту ямайского имбиря, или «джейка», обладавшему свойствами очень крепкого алкогольного напитка и доступному тогда в качестве тонизирующего средства. Когда способность «джейка» вызывать состояние опьянения стала известна правительству, власти распорядились добавлять в него отличающийся ужасным вкусом трипторкрезилфосфат, или ТОКФ, который оказался очень мощным, хотя и медленного действия, нейротоксином. Ко времени, когда это стало ясным, более пятидесяти тысяч американцев были отравлены этим ядом, причем последствия отравления в ряде случаев оказались необратимыми. Поражение нервной системы ТОКФ вызывало судороги и последующий паралич верхних и нижних конечностей и было причиной появления у больных так называемой «джейк-походки».

Каким конкретно способом ТОКФ вызывает поражение нервной системы, оставалось неясным, хотя и предполагалось, что он оказывает воздействие главным образом на миелиновые оболочки нервных волокон, и, как говорил Синклер, против него не было пока известных антидотов. Он хотел, чтобы я смоделировал течение заболевания на животных. Я, исходя из своей любви к беспозвоночным, сразу же подумал о земляных червях: у них гигантские, покрытые миелином нервные волокна, которые позволяют червю при угрозе или ранении немедленно сворачиваться клубком. Подобные нервные волокна были достаточно простым объектом изучения; что о самих червях, то их можно было найти где угодно и сколько угодно. В компанию к червям я мог пригласить цыплят и лягушек.

Как только мы обсудили проект, Синклер закрылся в заставленном книгами офисе и стал совершенно недоступен – не только для меня, но и для прочих сотрудников Лаборатории питания человека. Другие исследователи – люди бывалые – радовались, что их оставили в покое, позволив без помех заниматься делом. Я же, напротив, был новичком и страшно нуждался в руководстве и совете. Несколько раз я рискнул пробиться к Синклеру, но после полудюжины попыток понял, что это безнадежное дело.

С самого начала все пошло наперекосяк. Я не знал, какой концентрации должен был быть ТОКФ, в каком растворе его следовало вводить и не нужно ли было этот раствор подсластить, чтобы отбить неприятный вкус. Черви и лягушки поначалу отказались от моей стряпни, цыплята же готовы были сожрать что угодно – весьма неприглядное зрелище. Но вскоре, несмотря на их обжорство, писк и беспрестанную возню, я привязался к своим цыплятам, даже испытывал некую гордость за их шумливый характер и энергичное поведение. Тем не менее через несколько недель ТОКФ начал действовать, и ножки у моих цыплят стали слабеть. На этом этапе, полагая, что воздействие ТОКФ подобно воздействию нервно-паралитических газов, нарушающих работу ацетилхолина, который выполняет функции нейротрансмиттера, в качестве антидота я ввел уже полупарализованным цыплятам антихолинэргические препараты, но не рассчитал дозировку и прикончил их. Тем временем цыплята из контрольной группы, которым я не вводил антидот, слабели на глазах – зрелище, вынести которое я мог с трудом. Концом – и для меня как исследователя эффекта ТОКФ, и для самого исследования – было постепенное угасание моей любимицы (имени у нее не было, только номер – 4304). Это существо, исключительно понятливое, с покладистым характером, упало на пол клетки, не в силах стоять на парализованных ногах, и жалобно постанывало. Когда я (использовав хлороформ) принес ее в жертву науке, то обнаружил на миелиновых оболочках ее периферических нервных волокон и нервных аксонах спинного мозга обширные разрушения – такие же, какие были обнаружены при вскрытии погибших от воздействия ТОКФ людей.

Также я выявил, что ТОКФ убивает у червей рефлекс внезапного сворачивания клубком, но что прочие движения этих беспозвоночных остаются ненарушенными, из чего я сделал вывод, что яд поражает только миелиновые оболочки, а немиелиновые не трогает. Но я уже понимал, что мое исследование закончилось полным провалом и мне никогда не быть ученым-исследователем. Написав отчет о проделанной и проваленной работе, яркий и довольно личного характера, я постарался выбросить этот грустный эпизод из головы.

Очень расстроенный своей неудачей, совершенно одинокий, поскольку все мои друзья покинули университет, я постепенно погрузился в состояние тихого, но в какой-то степени и напряженного отчаяния. Единственное облегчение мне приносили физические упражнения, и каждое утро я совершал долгую пробежку по дорожке, тянувшейся вдоль берега реки Айсис. После часового бега я нырял в реку, плавал, а затем, мокрый и продрогший, бежал назад, в свою берлогу напротив колледжа Церкви Христовой. Затем я жадно проглатывал холодный обед (цыплят есть я больше не мог) и до глубокой ночи сидел и писал. Эта писанина, которую я озаглавил «Мой ночной колпак», была лихорадочной и безуспешной попыткой соорудить хоть какую-нибудь сносную философскую программу, рецепт дальнейшей жизни. Я пытался хотя бы сформулировать причину, по которой можно было продолжать жить и работать.

Мой наставник из Королевского колледжа, который когда-то попытался предостеречь меня от работы с Синклером, узнал о моем состоянии (что было и удивительно, и приятно – я и думать не мог, что он еще помнит о моем существовании) и известил о своей озабоченности моих родителей. Посоветовавшись, они решили, что меня нужно отозвать из Оксфорда и поместить в рамки какого-нибудь дружественного и заботливого сообщества, где бы я занимался физической работой с утра и до глубокой ночи. Родители сочли, что эту роль сможет исполнить кибуц, а мне, у которого не было ни религиозных, ни сионистских предрассудков, идея пришлась по душе. И вот я отправился в Эйн-ха-Шофет, «англосаксонский» кибуц возле Хайфы, где я мог использовать английский до той поры, пока не научусь бегло говорить на иврите.

В кибуце я провел лето 1955 года. Мне дали выбрать место работы: я мог трудиться в питомнике деревьев или ухаживать за цыплятами. Последние вызывали во мне чувство ужаса, и потому я предпочел питомник. Мы вставали до рассвета, всей коммуной завтракали и отправлялись на работу.

Меня поразили огромные миски рубленой печени, которую подавали даже во время завтрака. В кибуце не было крупного скота, и я не мог понять, как разводившиеся там куры могли поставлять сотни фунтов печени, которую мы ежедневно поглощали. Когда я спросил об этом, раздался дружный смех, и мне сказали, что за печень я принял баклажаны, которых в Англии до этого я никогда не пробовал.

Я со всеми был в хороших отношениях, поддерживал разговор, но близко ни с кем не сдружился. В кибуце жило много семей, точнее, кибуц был одной большой семьей, где все родители заботились обо всех детях сразу. Я среди них был одиночкой, который никак не планировал связать жизнь с Израилем (как это сделали многие из моих двоюродных братьев). Трепаться по пустякам я был не мастер, и за первые два месяца жизни в Израиле, несмотря на интенсивные занятия в ульпане, в иврите я продвинулся очень недалеко, хотя на десятой неделе неожиданно начал понимать и произносить фразы на этом языке. И тем не менее жизнь, полная тяжелого физического труда, а также компания дружелюбных умных людей послужили отличным лекарством после одиноких, полных страданий месяцев, которые я провел в лаборатории Синклера, где вся моя жизнь была замкнута в пространстве моей головы.

Были и осязаемые физические результаты. В кибуц я прибыл бледной неоформленной тушкой, весящей двести пятьдесят фунтов. Когда же я покинул его три месяца спустя, во мне было на шестьдесят фунтов меньше, и я чувствовал, что гораздо лучше владею своим телом.

Покинув кибуц, несколько недель я провел, путешествуя по стране, стараясь составить впечатление об этом молодом, полном возвышенного идеализма, осажденном врагами государстве. Во время пасхальной службы в церкви, вспоминая исход евреев из Египта, мы привыкли говорить: «В следующем году – в Иерусалиме», а теперь я воочию увидел город, где за тысячу лет до пришествия Христова Соломон построил свой храм. Правда, в те годы Иерусалим был разделен, и пройти в Старый город не мог никто.

Я изучал прочие части Израиля: Хайфу, старый портовый город, который я очень любил, Тель-Авив, медные копи в Негеве, которые, как считается, принадлежали царю Соломону. Меня всегда восхищало то, что я читал о каббалистическом иудаизме, особенно его космогония; и я совершил свое первое путешествие, своего рода паломничество, в Сафед, где в шестнадцатом веке жил и проповедовал великий мистик Исаак Лурия.

А затем я направился к истинной цели своего путешествия – Красному морю. В то время Эйлат имел население не более нескольких тысяч, которое ютилось в палатках и хижинах (теперь на побережье стоят сверкающие отели, а население насчитывает пятьдесят тысяч). Целыми днями я плавал с маской и трубкой, а также в первый раз погрузился с аквалангом – еще достаточно примитивным тогда устройством (когда несколько лет спустя я в Калифорнии получил сертификат аквалангиста, конструкция акваланга была существенно усовершенствована, и плавать с ним стало много легче).

Я вновь задумался – как задумывался, когда впервые отправился в Оксфорд, – а действительно ли я хочу стать врачом. Меня очень интересовала нейрофизиология, но я любил и биологию моря, особенно морских беспозвоночных. Вот бы объединить эти два предмета, допустим, в исследовании нейрофизиологии морских беспозвоночных, например, головоногих, этих гениев среди беспозвоночных!<sup>2</sup>

Часть моего существа готова была остаться в Эйлате до конца жизни – плавать, нырять, погружаться с аквалангом, заниматься биологией моря и нейрофизиологией беспозвоночных. Но родители уже проявляли нетерпение – я слишком долго болтался без дела в Израиле. Теперь, когда я «излечился», пора было возвращаться в медицину, начать работу в клинике, лечить пациентов в Лондоне. Но было еще кое-что, оставшееся несделанным, – то, что раньше казалось невыполнимым. Мне был двадцать один год, по-моему, я очень хорошо выглядел – загорелый, стройный... Какое же право я имею до сих пор быть девственником?

В Амстердам я до этого пару раз ездил с Эриком. Нам нравились местные музеи и Концертгебау (концертный холл в Амстердаме; именно там я в первый раз услышал «Питера Граймса» Бенджамина Бриттена, правда по-голландски). Хороши были каналы, застроенные по берегам высокими домами, подъезды которых обязательно выходили на площадку, а от площадки к мостовой сбегала лестница в десяток ступенек; старый Ботанический сад, великолепная португальская синагога семнадцатого века, площадь Рембрандта – Рембрандтплейн – с ее артистическими кафе под открытым небом... А свежая сельдь, которая продается на улице и здесь же поедается, а общая атмосфера дружелюбия и открытости, которая присуща городу...

Но сейчас, после поездки на Красное море, я решил отправиться в Амстердам один, чтобы потерять там себя, а если точнее, чтобы потерять там девственность. Но как? Ведь учебников по этому предмету нет. Может быть, я должен выпить, и крепко, чтобы залить свою застенчивость, нервозность, «вырубить» свои лобные доли?

---

<sup>2</sup> Моим экзаменатором по зоологии, когда в 1949 году я сдавал экзамены на получение свидетельства об окончании школы, был великий зоолог Джон Захари Юнг, который открыл наличие гигантских нервных аксонов у кальмаров. Именно исследование этих аксонов через несколько лет впервые привело нас к действительному пониманию электрических и химических основ нервной проводимости. Сам Юнг каждое лето работал в Неаполе, изучая поведение и мозг осьминога. Я думал о том, чтобы поработать с Юнгом, по примеру моего оксфордского однокурсника Стюарта Сазерленда.

На Вармоестраат, около железнодорожного вокзала, есть чудесный бар, куда мы с Эриком частенько заходили выпить. Пили мы понемногу, но сейчас, в одиночестве, я хотел набраться крепко – голландский джин обязан был пробудить во мне голландскую отвагу. Я пил и пил, пока бар не исчез из поля зрения, а звуки не начали пухнуть и отступать. Я не понимал, насколько пьян, пока не встал. Бармен, увидев, как меня качает, проговорил «Генуг! (Довольно!)» и спросил, не нужно ли мне помочь добраться до отеля. Я отказался, сказав, что мой отель через дорогу, и выполз на улицу.

Должно быть, я сразу вырубился, потому что, когда на следующее утро я пришел в себя, я лежал не на своей кровати, а на чужой. По помещению распространился уютный запах готовящегося кофе, а вслед за ним вошел мой хозяин и спаситель, в халате, с двумя чашками кофе.

Он сказал, что нашел меня пьяным в стельку на тротуаре, привел к себе домой и... трахнул.

– Тебе понравилось? – спросил я.

– О да! – ответил он.

Ему очень понравилось – жаль только, сказал он, что я был в отрубе и не смог получить удовольствие.

За завтраком мы поговорили обо всем: о моих сексуальных страхах и комплексах, об опасно-запретительной атмосфере в Англии, где гомосексуальность считается преступлением. В Амстердаме, сказал он, все совсем не так. Гомосексуализм между взрослыми, которые сознательно идут на связь, вещь вполне допустимая – в этом нет ничего незаконного, патологического или достойного порицания. Здесь много баров, кафе и клубов, куда ходят только геи (до этого я никогда не слышал слова «гей» – «веселый, жизнерадостный» – в таком значении). Мой хозяин сказал, что будет рад сводить меня в одно из таких местечек или просто дать адреса, чтобы я исследовал их сам.

– И совсем необязательно, – добавил он уже серьезно, – напиваться до чертиков, отключаться и валяться в сточной канаве. Это очень опасно и очень печально. Надеюсь, с тобой это в первый и последний раз.

Я вздохнул с облегчением. Разговор со знающим человеком снял с моих плеч тяжелое бремя самообвинения. Снял или по крайней мере приподнял и сделал гораздо легче.

В 1956 году, после проведенных в Оксфорде четырех лет и всех моих приключений в Израиле и Голландии, я вернулся домой и принялся по-настоящему изучать медицину. В течение почти тридцати месяцев я продирался сквозь общую медицину, хирургию, ортопедию, педиатрию, неврологию, психиатрию, дерматологию, инфекционные заболевания и прочие специализации, обозначаемые только аббревиатурами GI (гастроэнтерология), GU (урология), ENT (отоларингология или «ухо-нос-горло»), OB/GYN (акушерство и гинекология).

К моему изумлению (но к радости матери), у меня проявились способности к акушерству. В те годы рожали дома (я сам появился на свет дома, как и все мои братья). Роды принимали главным образом акушерки, а мы, студенты-медики, им ассистировали. Обычно раздавался телефонный звонок, часто среди ночи, оператор из больницы диктовал мне имя и адрес, а иногда еще и добавлял: «Поторопись!»

Мы с акушеркой, оба на велосипедах, встречались возле дома и шли в спальню, а иногда – на кухню – порой проще было рожать именно на кухонном столе. Муж и остальные члены семьи обычно ждали в соседней комнате, наострив уши на первый крик ребенка. Больше всего волновал меня в этой драме чисто человеческий аспект: это была настоящая жизнь, и участвовать в ней, играть свою роль можно было не только в стенах больницы.

Нас, студентов-медиков, не слишком перегружали лекциями или заучиванием инструкций. Главному мы учились возле кровати больного: слушать пациента, задавать ему правильные вопросы и, на основе беседы, определять «настоящее состояние». Основными инструмен-

тами становились глаза и уши, кончики пальцев и даже обоняние. Уметь выслушать сердце, перкутировать грудную клетку, пальпировать живот – все это было не менее важно, чем беседа с пациентом. Хороший врач устанавливает с больным глубокий физический контакт, и здесь простое прикосновение рук может оказаться мощным терапевтическим средством.

Я закончил курс и получил диплом 13 декабря 1958 года. Начинать я должен был с первого января в Мидлсексе в качестве врача-стажера<sup>3</sup>. Как это радостно и в то же время удивительно – вдруг понять, что ты – врач, что ты наконец добился этого (мне казалось, что я никогда не получу диплом врача; и до сих пор мне иногда снится, что я все еще студент, что «завяз» на студенческой скамье). Я радовался, но одновременно мною владел испуг. Я был уверен, что все у меня пойдет наперекосяк, я наломаю дров и все увидят, что перед ними – неисправимый и даже опасный для окружающих растяпа. И я решил, что две недели, которые предшествовали выезду на место работы в Мидлсекс, мне будет полезно поработать дежурным врачом в больнице в Сент-Олбансе, где во время войны мать работала хирургом «Скорой помощи», – так я приобрету и навыки работы, и, главное, уверенность в себе.

В первое же дежурство меня вызвали к больному в час ночи: поступил ребенок с бронхитом. Я поспешил в палату к своему первому пациенту – четырехмесячному младенцу с синевой вокруг губ, высокой температурой, учащенным дыханием и хрипами в легких. Сможем ли мы с сестрой спасти малыша? Есть ли надежда? Сестра, заметив мой страх, поддержала меня и помогла. Мальчика звали Дин Хоуп<sup>4</sup>, и, как ни абсурдно это звучит для человека несуетливого, его имя мы восприняли как добрый знак, будто оно определило судьбу малыша. Мы работали всю ночь, и, когда за окнами поднялся серый рассвет, Дин был вне опасности.

Первого января я начал работу в больнице в Мидлсексе. Репутация у этого учреждения была очень высока, несмотря на то, что ему не хватало духа старины, витавшего вокруг «Бартса», больницы Святого Варфоломея, которая была открыта еще в двенадцатом веке. В «Бартсе» проходил интернатуру мой старший брат Дэвид. Мидлсексская больница, сравнительно новое заведение, была основана в 1745 году и в дни моей работы занимала современное здание, построенное в конце 1920-х годов. Здесь служил и стажировался мой средний брат, Марк, и теперь я шел по его стопам.

Шесть месяцев я провел в отделении общей терапии и шесть – в отделении неврологии, где моими начальниками были Майкл Кремер и Роджер Джиллиатт, оба яркие личности, но совершенно несовместимые как коллеги.

Кремер был человеком общительным, дружелюбным и чрезвычайно обходительным. У него была странная, слегка перекошенная улыбка – то ли из-за привычного для него ироничного взгляда на мир, то ли как следствие периферического паралича лицевого нерва (мне так и не удалось этого выяснить). Он не скупился на время, когда речь шла об общении с пациентами или интернами.

Джиллиатт был его полной противоположностью – резкий, нетерпеливый, едкий на слово, раздражительный, в любой момент готовый (так мне иногда казалось) к яростному взрыву. Его гнев, как мы, интерны, подозревали, могла спровоцировать и незастегнутая пуговица. У Джиллиатта были огромные, свирепые, черные как смоль брови, движением которых он нагонял ужас на подчиненных. Недавно назначенный на должность врача-консультанта, он был одним из самых молодых врачей этого уровня – ему еще не было сорока<sup>5</sup>. Но воз-

---

<sup>3</sup> В Соединенных Штатах это называлось бы интернатурой; в Англии же интерны – это живущие при больнице врачи-стажеры, ординаторы.

<sup>4</sup> Норе (англ.) – «надежда». – *Примеч. пер.*

<sup>5</sup> Это впечатляло, хотя моя мать, и я постоянно помнил об этом, стала врачом-консультантом в возрасте двадцати семи лет.

раст не делал его менее опасным для молодняка, скорее наоборот. За выдающуюся храбрость, проявленную на войне, Джиллиатт заслужил Военный крест и с тех лет сохранил и военную выправку, и повадки военного. Я боялся его настолько, что впадал в ступор, стоило ему обратиться ко мне с вопросом. И многие его интерны, как я потом понял, реагировали на босса сходным образом.

У Кремера и Джиллиатта были разные подходы к осмотру больных. Джиллиатт заставлял нас методично, в установленном порядке, не отклоняясь ни на йоту, пройти через все уровни: черепно-мозговые нервы (ни один не должен был остаться без внимания), моторная система, сенсорная система. Ни в коем случае нельзя было перепрыгивать через промежуточные стадии, прицепившись к бросающемуся в глаза симптому, будь то увеличенный зрачок, фасцикуляция или отсутствие брюшного рефлекса<sup>6</sup>. Диагностика для Джиллиатта была процессом, следующим точному алгоритму.

Джиллиатт был прежде всего ученым, нейрофизиологом по образованию и темпераменту. Похоже, ему было жаль тратить время на больных (и интернов), хотя, как я позже узнал, он был совершенно другим человеком – доброжелательным и благосклонным – со студентами, которые под его руководством занимались научными исследованиями. Истинные его интересы, которым он следовал со страстью настоящего ученого, лежали в сфере исследования расстройств периферической нервной системы и механизмов мускульной иннервации – в этой области ему со временем было суждено стать мировой величиной.

Кремер, напротив, был радикальным интуитивистом. Я помню, как однажды он поставил диагноз вновь поступившему больному, едва мы вошли в палату. Заметив пациента, который находился от нас на расстоянии тридцати ярдов, он возбужденно схватил меня за руку и прошептал на ухо:

– Синдром яремного отверстия.

Это – чрезвычайно редкое расстройство, и я был поражен, как Кремеру удалось диагностировать его с первого взгляда, да еще на значительном расстоянии.

Когда я смотрел на Кремера и Джиллиатта, я вспоминал отмеченное Паскалем в начале «Мыслей» различие между интуицией и рациональным анализом. Кремер уповал преимущественно на интуицию, он все видел с первого взгляда, и видел иногда гораздо больше, чем мог оформить словами. Джиллиатт был в основном аналитиком, он рассматривал явления последовательно, одно за другим, но видел и предпосылки, и последствия каждого из них до самых потаенных глубин.

Кремер обладал поразительной особенностью к сопереживанию и состраданию. Казалось, что он проникает в самое сознание своих пациентов, постигая интуитивно их страхи и надежды. Наблюдая за их движениями и позами, Кремер напоминал театрального режиссера, который, не сводя глаз с актеров, управляет их игрой. Одна из его работ – моя любимая – называлась «Больной сидит, больной стоит, больной идет». Этот труд показывает, как много он видел и понимал в больном еще до начала неврологического осмотра, до того, как больной открывал рот и начинал говорить.

Принимая по пятницам амбулаторных больных, Кремер мог за день пропустить до тридцати пациентов, но каждому из них было гарантировано его полное внимание, понимание и сочувствие. Пациенты души в нем не чаяли и часто говорили о его доброте и о том, что само его присутствие оказывает целебный эффект.

---

<sup>6</sup> Валентин Лоуг, их коллега из отделения этажом выше, обычно спрашивал молодых врачей, не замечают ли они чего-нибудь странного в его лице, и только со временем мы поняли, что у него проблема с глазами: один из зрачков размерами превосходил другой. Мы постоянно размышляли над причинами этой диспропорции, но Лоуг на этот счет нас так и не просветил.



Даже когда его интерны, после завершения курса, отправлялись на новые места работы, Кремер сохранял к ним интерес и участвовал в их жизни и карьере. Мне он посоветовал поехать в Америку, дал кое-какие наставления, а спустя двадцать пять лет, прочитав мою книжку «Нога как точка опоры», написал мне умное, содержательное письмо<sup>7</sup>.

Контактов с Джиллиатом у меня было меньше – я думаю, мы в равной мере оба страдали от застенчивости, – но он написал мне, когда в 1973 году вышли мои «Пробуждения», и пригласил меня посетить его на Куинз-сквер. Теперь он не казался таким страшным, и в нем появились интеллектуальная и эмоциональная теплота, о наличии которых я и не подозревал. На следующий год он вновь пригласил меня, чтобы показать документальный фильм про моих пациентов из «Пробуждений». Я расстроился, когда Джиллиат умер от рака, – ведь он был так молод и столь продуктивен как ученый! Тяжело я воспринял и несчастье, случившееся с Кремером, когда у этого общительного человека, который так любил поболтать и продолжал видаться со своими больными, уже будучи «в отставке», после удара развилась афазия. Оба они оказали на меня влияние – несомненно, положительное, но в разном ключе: Кремер научил меня наблюдательности и искусству интуиции, Джиллиат – всегда думать о вовлеченных в процесс болезни физиологических механизмах. Сейчас, по прошествии пятидесяти лет, я вспоминаю их с любовью и благодарностью.

Мои занятия на подготовительном отделении в Оксфорде, где я изучал анатомию и физиологию, нисколько не подготовили меня к реальной медицине. Для меня оказалось совершенно новым то, что делают настоящие врачи: наблюдают пациентов, слушают их, пытаются проникнуть в их прошлый опыт (или по крайней мере представить его) и будущее, чувствуют озабоченность их судьбой, несут за них ответственность. Больные были реальными, иногда несдержанными индивидами с невымышленными проблемами. Часто больные стояли перед проблемой выбора, причем очень серьезного. И дело необязательно касалось диагноза и лечения, перед ними возникали и более существенные вопросы: стоит ли, например, жить в существующих обстоятельствах, при доступном им качестве жизни?

Все это обрушилось на меня, когда я был интерном в Мидлсексе и к нам в терапевтическое отделение со странными болями в ногах был доставлен молодой человек по имени Джошуа, спортсмен и пловец. На основе анализа крови был поставлен предварительный диагноз, но, пока ожидалось прочие результаты, молодого человека на выходные отпустили домой. Вечером в субботу он был на вечеринке с толпой молодежи, среди которой были и студенты-медики, и один из них спросил, почему Джошуа положили в больницу. Тот ответил, что не знает причины, и, сказав, что ему дали пить таблетки, показал их спросившему. Тот, увидев этикетку с надписью «6-М» (6-меркатопурин), выпалил:

– Господи, да у тебя лейкемия!

Когда в понедельник Джошуа вернулся в больницу, он был почти в отчаянии. Молодой человек принялся спрашивать, насколько определенным был его диагноз, может ли помочь

---

<sup>7</sup> Кремер писал: «Меня попросили посмотреть загадочного пациента в кардиологическом отделении. У него была фибрилляция предсердия, после чего в результате эмболии развился паралич левой половины тела. Меня попросили его посмотреть, потому что каждую ночь он падал с кровати, чему кардиологи не могли найти объяснения. Когда я спросил больного, что с ним происходит ночью, он совершенно открыто объяснил мне следующее: стоит ему проснуться среди ночи, как он сразу же обнаруживает рядом с собой в постели чью-то мертвую, холодную, волосатую ногу; смириться с этим он не может, а потому, используя оставшиеся здоровыми конечности, выбрасывает эту ногу из постели; правда, за этой ногой почему-то следует и все остальное, что лежит на кровати. Этот пациент явил собой прекрасный пример того, как парализованный больной теряет ощущение, что пострадавший член принадлежит именно ему, но, что интересно, мне не удалось узнать у него, принадлежит ли ему правая нога, потому что он был слишком озабочен левой, чужой, как он полагал». Я процитировал этот фрагмент письма Кремера, когда мне довелось описывать сходный случай (глава «Человек, который падал с кровати») в книге «Человек, который принял жену за шляпу».

лечение и что вообще его ждет. Был сделан анализ костного мозга, и диагноз подтвердился. Прием медикаментов, сказали Джошуа, даст ему некое дополнительное время, но и в этом случае болезнь будет быстро прогрессировать, так что в течение года, а то и раньше он умрет.

Днем я увидел, как Джошуа карабкается на перила балкона – палата была на третьем этаже. Я бросился к нему и стащил его с перил, бормоча что-то по поводу того, что и в таких условиях нужно уметь жить. Нехотя – решимость его прошла – Джошуа вернулся в палату.

Странные боли становились все сильнее, и теперь от них страдали не только ноги, но также руки и все туловище. Становилось ясно, что боль вызывают лейкемические инфильтраты в тех местах, где афферентные нервы подходят к спинному мозгу. Обезболивающие не помогали, хотя Джошуа прописали сильнейшие опиаты – и в инъекциях, и перорально, – а потом и героин. От боли он начал кричать и днем, и ночью, и на этом этапе единственным спасением была только закись азота. Но когда Джошуа отходил от анестезии, он вновь принимался кричать.

– Не нужно вам было тогда меня останавливать, – сказал он мне. – Хотя, наверное, у вас не было выхода.

По-прежнему мучаясь от невыносимой боли, Джошуа через несколько дней умер.

Непросто приходилось гомосексуалистам в Лондоне 1950-х годов. Такого рода занятия, если человека поймают, могли привести к тяжелым наказаниям – тюремному заключению или, как в случае с Аланом Тьюрингом, принудительной химической кастрации (ему ввели эстроген). Отношение к гомосексуалистам в обществе было таким же жестоким, как и отношение к ним законодателей. Геям было трудно встречаться; существовало несколько особых клубов и баров, но эти заведения находились под постоянным присмотром полиции. Везде шныряли агенты-provокаторы, особенно в общественных парках и туалетах; этих людей специально учили, как соблазнять доверчивых или неосторожных, а потом прижимать их с помощью закона к ногтю.

Хотя я по мере возможности и посещал такие «открытые» города, как Амстердам, но искать сексуального партнера в Лондоне не пытался, тем более что жил дома, под неусыпным присмотром родителей.

Но в 1959 году, когда я проходил интернатуру в Мидлсексе, я был относительно свободен. Мне нужно было только спуститься по Шарлотт-стрит и пересечь Оксфорд-стрит, чтобы оказаться в Сохо. Немного дальше по Фрит-стрит, и я оказывался на Олд-Комптон-стрит, где можно было снять или купить все что угодно. Здесь, у Колмана, я покупал свои любимые гаванские сигары: «торпеда» – марки, названной в честь Симона Боливара, – могла дымить целый вечер, и по особым случаям я себя этим баловал. Был здесь и магазинчик деликатесов, где продавался маковый торт – такой приторно-сладкий, такой сочный, какого я в жизни не пробовал. А рядом располагалась маленькая кондитерская, где на полках лежали газеты, а на оконном стекле размещались объявления сексуального характера. Объявления были осторожно двусмысленными (иное было бы слишком опасно), но от понимающего человека основной смысл не ускользал.

Одно такое было от молодого человека, который писал, что любит мотоциклы и всякие байкерские аксессуары. Он дал свое первое имя, Бад, и оставил телефонный номер. Я не осмелился задержаться около объявления, тем более записать телефон, но фотографическая память, которой я тогда располагал, мгновенно его зафиксировала. Раньше я никогда не отзывался на подобные объявления и даже в мыслях такого не держал, но теперь, после годичного воздержания (в Амстердаме я был в декабре прошлого года), я решился позвонить этому загадочному Бадю.

С максимальной осторожностью мы поболтали по телефону – в основном о мотоциклах. У Бада была «Золотая звезда» от Бирмингемской оружейной компании, большой одноци-

линдровый мотоцикл с двигателем в пятьсот кубов и скошенным вниз рулем, а у меня – мой шестисоткубовый «нортон-доминатор». Мы решили встретиться в байкерском кафе и вместе покататься. Узнаем же мы друг друга по мотоциклам и нарядам: кожаные куртки, кожаные брюки, кожаные ботинки и перчатки.

Мы встретились, пожали руки, полюбовались мотоциклами, а затем отправились на прогулку вокруг Южного Лондона. Родившийся и выросший в Северном Лондоне, я плохо знал южную часть города, но Бад уверенно вел меня по незнакомой местности. Мне кажется, я выглядел живописно: рыцарь дорог, верхом на своем мотоскакуне, облаченный в черное.

Потом мы отправились к нему домой, в Патни, обедать. У него была довольно пустая квартирка; книг было мало, зато повсюду лежали мотоциклетные журналы и всякий байкерский хлам. По стенам висели фотографии мотоциклов и мотоциклистов, а также (чего я никак не ожидал) замечательные подводные фотографии, которые он сделал сам, – помимо мотоциклов, он обожал плавание с аквалангом. Я же начал увлекаться аквалангом еще в 1956 году, когда был на Красном море; таким образом, оказалось, что мы с Бадом разделяем еще одно увлечение (в 1950-е годы довольно экзотическое). У него были и разнообразные аксессуары для плавания; это были годы, когда никто еще не слышал про «мокрые» гидрокостюмы и неопрен, а все пользовались «сухими» костюмами из тяжелой резины.

Мы пили пиво, и вдруг, совершенно неожиданно, Бад сказал:

– Пойдем в постель.

Мы даже не попытались узнать друг друга получше. Я ничего не знал о Баде, его работе, не знал даже его полного имени; обо мне он знал так же мало. Но нам было хорошо известно (на интуитивном уровне и безошибочно точно), чего мы хотели друг от друга, как мы могли бы доставить удовольствие и себе, и другому.

После произошедшего не было нужды говорить, как нам все понравилось и как мы оба захотели увидеться вновь. Правда, я на шесть месяцев уезжал в Бирмингем, в интернатуру по хирургии, но справиться с этой проблемой было просто. В субботу я должен был возвращаться в Лондон, чтобы переночевать с родителями, но приезжал-то я утром и день проводил с Бадом, а на следующий день мы обычно до обеда катались на мотоциклах.

Мне нравились эти поездки – хрустящим воскресным утром, оставив свой мотоцикл на стоянке, я садился позади Бада на заднее сиденье, и, прижавшись друг к другу, мы мчались по дороге, чувствуя себя единым кожаным зверем.

В эту пору мною владело чувство неопределенности: интернатура в июне 1960-го должна была закончиться, и меня должны были призвать в армию (отсрочка была на время учебы в университете и интернатуры).

Свои размышления на этот счет я от Бада скрыл, но в июне написал ему, что девятого июля, в день своего рождения, я уеду из Англии в Канаду и, вероятно, уже не вернусь. Я не думал, что это его сильно расстроит, ведь мы были просто приятелями – как на мотоциклах, так и в постели. О чувствах даже не говорили. Но Бад прислал мне страстный, полный боли ответ; оказывается, получив мое послание, он почувствовал себя настолько одиноким, что разрыдался. Я был озадачен: неужели Бад был влюблен в меня и, покинув его, я разбил его сердце?

## Я покидаю гнездо

Еще ребенком, благодаря романам Фенимора Купера и фильмам про ковбоев, я составил романтическое представление об Америке и Канаде. Суровые открытые пространства американского Запада, изображенные в книгах Джона Мьюра и смотревшие на меня с фотографий Энсела Адамса, казалось, обещали свободу, простоту и ясность, которых в Англии, еще не успевшей оправиться после войны, попросту не было.

Когда я учился в Англии на медицинском факультете, мне была предоставлена отсрочка от военной службы, но, как только я покончил с учебой и интернатурой, я обязан был явиться и предстать перед военными властями. Мне не очень нравилась перспектива тянуть армейскую лямку (в отличие от моего брата Марка, которому знание арабского помогло побывать в Тунисе, Киренаике и Северной Африке), а потому я выбрал альтернативу, более для меня привлекательную – трехлетний срок в качестве врача Колониальной службы, с пребыванием в Новой Гвинее. Но сама Колониальная служба «усыхала», и, как раз перед тем, как мне закончить медицинское отделение, ее медицинская составляющая приказала долго жить. К тому же обязательную службу в армии собирались упразднить уже в течение нескольких месяцев после моего призыва.

Потеря привлекательной возможности получить столь экзотический пост в Колониальной службе и одновременно перспектива оказаться одним из последних призывников в армию буквально взбесили меня и стали еще одной причиной того, что я решил уехать из Англии. И вместе с тем я чувствовал, что у меня есть моральное обязательство отслужить в армии. Эти конфликтующие друг с другом мотивы и заставили меня, когда я приехал в Канаду, добровольно поступить на службу в Военно-воздушные силы Канады (меня к тому же буквально гипнотизировала строка Одена о «кожаном смехе» летчика из его «Азбуки пилота»). Служба в Канаде, одной из стран Содружества, могла быть воспринята как эквивалент военной службе на родине – важное обстоятельство, если бы мне пришлось когда-нибудь вернуться в Англию.

Для отъезда имелись и другие причины, как в свое время у моего брата Марка, который за десять лет до этого отправился жить в Австралию. Огромное количество высококвалифицированных мужчин и женщин покинули страну в 1950-е годы (так называемая утечка мозгов), потому что и рабочие места, и университеты в Англии были буквально переполнены (я видел это во время своей интернатуры в Лондоне), а умные и отлично образованные люди годами прозябали на второстепенных ролях, где не могли ни реализовать свою профессиональную свободу, ни принимать ответственные решения. Я надеялся, что в Америке, с ее гораздо более широкими возможностями и менее инертной системой здравоохранения, для меня найдется и место, и интересная работа. Еще одной причиной отъезда для меня, как и для Марка, было ощущение, что в Лондоне скопилось слишком много врачей по фамилии Сакс: моя мать, мой отец, старший брат Дэвид, дядя и три двоюродных брата – все мы боролись за место в уже переполненном специалистами медицинском мире Лондона.

Я прилетел в Монреаль девятого июля, в свой двадцатисемилетний день рождения. Несколько дней я провел у родственников, побывав в Монреальском неврологическом институте и установив контакты с Королевскими ВВС Канады. Там я сказал, что хотел бы быть летчиком, но после того, как я прошел тесты и собеседование, мне сообщили, что мои знания в области физиологии пригодятся в исследовательском подразделении. Высокопоставленный офицер, некий доктор Тейлор, долго со мной беседовал, после чего пригласил меня более тесно пообщаться на выходных, чтобы совместно решить, что мне нужно и на что я могу быть годен. По окончании уикенда доктор Тейлор, отметив некую двусмысленность моей мотивации, заявил:

– У вас несомненные таланты, и мы были бы рады, если бы вы поступили на службу. Но я не уверен в ваших намерениях. Почему бы вам месяца три не попутешествовать, подумать обо всем? Если ваше желание поступить к нам останется неизменным, свяжитесь со мной.

Какое облегчение! Я неожиданно обрел свободу и с легким сердцем решил извлечь из трехмесячного отпуска максимальную пользу. Путь мой лежал через всю Канаду, и, как это обычно со мной бывало, во время путешествия я вел дневник. Домой, родителям в Англию, я писал только короткие письма, а более-менее длинный отчет о своих странствиях сумел написать и отослать только тогда, когда достиг острова Ванкувер. В нем я детальнейшим образом рассказал о том, где побывал и что видел. Пытаясь нарисовать для родителей картину Калгари, что на Диком Западе, я дал волю воображению и теперь сомневаюсь, что реальный Калгари выглядел таким экзотическим местом, как я его изобразил:

«В Калгари только что закончился ежегодный конноспортивный фестиваль, и на его улицах полно ковбоев в джинсах, лосинах и шляпах, низко сдвинутых на лоб. Но в Калгари есть и своих триста тысяч жителей. Город переживает нашествие. Найденная нефть привлекла сюда целые толпы геологов, инвесторов, инженеров. Тихая жизнь Старого Запада была разрушена строительством нефтеперерабатывающих заводов и фабрик, а также офисных зданий и небоскребов... Здесь же и огромные запасы урановой руды, золота, серебра и прочих металлов. В тавернах можно наблюдать, как из рук в руки переходят мешочки с золотым песком, и увидеть местных золотых королей с загорелыми лицами, в грязных комбинезонах».

Затем я возвращался к удовольствиям жизни путешественника:

«В Банф я отправился поездом Канадской тихоокеанской железной дороги, усевшись в обзорном вагоне. Проехав через безграничные ровные прерии, мы добрались до покрытых хвойными породами низких холмов у подножия Скалистых гор, все время поднимаясь вверх. Постепенно воздух становился прохладнее, а горизонтальные линии в картине окружавших нас пейзажей переходили в вертикальные. Холмики становились холмами, холмы – горами, с каждой новой милей все более высокими и зубастыми. Наш поезд, втиснувшийся в долину, казался тщедушным созданием по сравнению со снежными вершинами, окружавшими дорогу. Воздух был столь чист и прозрачен, что можно было видеть находящиеся на расстоянии сотен миль горные пики, в то время как стоящие рядом горы словно парили у нас над головами».

Из Банфа я отправился в самое сердце канадских Скалистых гор. Во время поездки я вел детальный журнал, записи которого позже переработал в очерк, названный мной «Канада: остановка, 1960».

### **Канада: остановка, 1960**

«Вот это скорость! Меньше чем за две недели я проехал расстояние почти в три тысячи миль.

Теперь вокруг меня покой и тишина – такая тишина, какой я в своей жизни еще не слышал. Скоро я снова отправлюсь в путь, и, наверное, мне уже не остановиться.

Я лежу посреди высокогорного альпийского луга, на высоте более восьми тысяч футов над уровнем моря. Вчера я бродил вокруг нашего жилища в компании трех дам-ботаников. Все три худые и крепкотелые, как амазонки, и от них я узнал названия многих цветов.

Здесь среди цветов преобладают дриады, которые уже готовы сбросить семена; подобные гигантским одуванчикам, они словно плывут по воздуху в свете утреннего солнца. Индейская кастиллея, то нежно-кремового, то кроваво-красного цвета. Горный лютик, купальница, вальериана, камнеломка; вся как бы изломанная вшивица и блошница дизентерийная (два послед-

них цветка самые красивые, несмотря на имена), редко дающие ягоды арктические малина и земляника; в центре трехлистника земляники – сверкающая капля росы. Похожие на сердечки листья бараньей травы, орхидеи калипсо, лапчатка и водосбор. Ледниковые лилии и альпийская вероника. Некоторые камни покрыты сверкающими лишайниками, которые на расстоянии выглядят как скопления драгоценных камней. Другие же заросли сочной заячьей капустой, и она сладострастно лопается, если на нее надавить пальцем.

Зона высоких деревьев осталась далеко внизу. Зато много кустарников: верба и можжевельник, черника и буйволова ягода; из деревьев же, забравшихся выше зоны лесов, – только лиственница с ее девственно-белым стволом и нежной пушистой листвой.

Из живности здесь водятся американская мешотчатая крыса, белка, бурундук, иногда в тени камня промелькнет сурок. Из птиц – сорока, какая-то певчая мелочь из отряда воробьиных, крапивник и дрозд. В изобилии медведи, хотя гризли встречаются редко. На нижних пастбищах водятся лось обычный и лось американский. Как-то огромная тень скользнула по земле, и я сразу признал – это орел Скалистых гор.

Чем выше в горы, тем меньше признаков жизни; все вокруг приобретает серую окраску, и только мхи и лишайники продолжают царствовать на высотах.

Вчера я присоединился к Профессору, который путешествовал с семьей и другом, которого называл «старина Маршалл» и «брат». Они действительно были похожи на братьев, хотя были просто друзьями и коллегами. Мы поднялись на горное плато, такое высокое, что с него можно было смотреть на гряды кучевых облаков внизу.

– Единственное, что смог здесь изменить человек, – это расширить козлиные тропы! – восклицал Профессор.

У меня не было и нет слов, чтобы передать свои чувства от осознания того, что я нахожусь так далеко от остального человечества, один на площади в тысячу квадратных миль. Мы двигались в молчании, понимая, что любые речи абсурдны. Потом наши лошади, аккуратно ступая по стелющейся траве, спустили нас к цепи ледниковых озер со странными названиями: Сфинкс, Скарабей, Египет. Отмахнувшись от осторожных предостережений спутников, я сбросил пропотевшую одежду, нырнул в хрустально-чистые воды озера Египет, вынырнул и поплыл на спине. С одной стороны озера высились Фараоновы горы, чья поверхность была испещрена гигантскими иероглифами; другие вершины не имели имени и, наверное, так безымянными и останутся.

Возвращаясь назад, мы пересекли ложе ледника, заполненное мягкими моренными отложениями.

– Только подумайте, – говорил Профессор, – этот огромный сосуд был совсем недавно заполнен слоем льда глубиной в три сотни футов. Когда мы и наши дети исчезнем с лица Земли, сквозь этот ил пробьются растения и над камнями зашелестит молодой лес. Перед нами разворачивается сцена геологической драмы, где прошлое и будущее сфокусированы в настоящем, свидетелями которого мы являемся, – и все это в пределах одного поколения, в пределах памяти одного человека.

Профессор стоял над ложем ледника – маленькая фигура в потрепанной шляпе и брюках на фоне скальной стены высотой в семьсот футов, фигура абсурдная и вместе с тем полная величавого достоинства. Казалось, вся сила ледников и горных потоков – ничто по сравнению с величием и мощностью этого маленького гордого существа, которое обозревает их и определяет им место в своей жизни и природе.

Профессор был чудесным спутником. На чисто практическом уровне он научил меня распознавать ледниковые провалы и различные виды моренных отложений, видеть следы медведя и лося, места, где кормился дикобраз; он показал, как определять заранее болотистые и опасные участки поверхности, как запоминать ориентиры, чтобы не заблудиться, вовремя замечать предвещающие бурю линзообразные облака. Знания его были огромны, почти безгра-

ничны. Он говорил о юриспруденции и социологии, экономике и политике, бизнесе и рекламе, медицине, психологии и математике.

Я никогда не встречал человека, который был бы столь интимно связан с каждым из аспектов окружающей его жизни – физическим, социальным, человеческим. И эту связь он обогащал ироническим складом ума, отчего всему, что Профессор говорил, была присуща его личная, отлично сбалансированная интонация.

Я встретил Профессора накануне и поведал ему историю своего бегства из дома, из страны и от родителей, а также рассказал о сомнениях относительно того, чтобы продолжать занятия медициной.

– Навязанная профессия! – с горечью в голосе восклицал я. – Ее для меня выбрали другие. А я хочу странствовать и писать. Вот возьму и целый год буду работать дровосеком.

– Перестаньте! – резко сказал Профессор. – Это пустая трата времени. Поезжайте в Штаты и посмотрите, какие там медицинские колледжи и университеты. Штаты – вот место для вас. Если вы в норме, то быстро подниметесь. А если пустышка – они вас сразу раскусят.

Он подумал и продолжил:

– Если располагаете временем, обязательно путешествуйте. Но только правильно, как это делаю я: читая и думая об истории места и его географии. И когда я встречаюсь с людьми, я это учитываю, общаюсь с ними в социальном контексте, контексте времени и пространства. К примеру, возьмем прерии. Если вы не знаете историю первых поселенцев, какое влияние на их жизнь в разные времена оказывали религия и закон, каковы здесь экономические и коммуникационные проблемы, как изменилась жизнь после открытия полезных ископаемых, – экскурсия в эти места вам ничего не даст.

Профессора было не остановить.

– Выбросьте из головы лагерь лесорубов. Поезжайте в Калифорнию. Там замечательные леса красного дерева. Посмотрите испанские религиозные миссии. Обязательно поезжайте в Йосемитскую долину, взгляните на Паломар – это зрелище для интеллектуала. Я однажды говорил с Эдвином Хабблом и обнаружил, что он блестяще знает законы. А вы знаете, что до того, как он решил посвятить свою жизнь звездам, он был юристом? О, обязательно отправляйтесь в Сан-Франциско. Это один из двенадцати самых интересных городов мира. В Калифорнии на каждом шагу контрасты – и непомерное богатство, и крайнее убожество. Но везде красота и масса интересного.

Ни на секунду не прерываясь, Профессор продолжал:

– Америку я пересек во всех направлениях более сотни раз. Видел все. Я скажу вам, куда поехать, если вы определите, чего хотите. Ну, что скажете?

– У меня кончаются деньги.

– Я одолжу вам столько, сколько нужно, и вы отдадите, когда захотите.

К этому моменту мы были знакомы чуть больше часа.

Профессор и Маршалл обожали Скалистые горы и в течение последних двадцати лет приезжали сюда каждое лето. Когда мы возвращались от озера Египет, то свернули с тропы и, углубившись в густой лес, добрались до наполовину вросшей в землю почерневшей от времени хижины. У входа в нее Профессор прочитал короткую вводную лекцию:

– Это хижина знаменитого путешественника Билла Пейто. Только три человека во всем мире, кроме нас, знают, где она находится. Официально считается, что она сгорела во время пожара. Пейто был кочевником и мизантропом, великим охотником и натуралистом, а также отцом целой оравы незаконнорожденных детей. Здесь есть озеро и гора, названные его именем. В 1926 году на Билла напала какая-то болезнь, и постепенно он понял, что один больше жить не может. Он спустился в Банф – легендарный дикарь, которого все знали, но никто никогда не видел. Вскоре после этого он и умер.



Я подошел ближе. Косо висевшую на гниющей стене дверь украшала полустертая надпись, которую я с трудом расшифровал: «Вернусь через час». Внутри я нашел кухонные принадлежности, древний запас продуктов, коллекцию минералов (у Пейто была небольшая слюдяная копь), обрывки дневника и подшивку журнала «Лондонские иллюстрированные новости» с 1890 по 1926 год. Мгновенный срез человеческой жизни, сделанный обстоятельствами. Я подумал о бригадине «Мария Целеста». Был уже вечер, я весь день провел, лежа на альпийском лугу, пожевывая стебель травы и глядя на горы, окаймляющие голубое небо. Я многое вспоминал и уже почти заполнил свою записную книжку.

Я представил, как летним вечером я сижу дома. Уходящее солнце подсвечивает мальвы и крикетные ворота, разбросанные по газону. Сегодня пятница, а значит, мать зажжет субботние свечи и, бормоча про себя молитву, слова которой я так никогда и не узнаю, прикроет огонь ладонями. Отец наденет маленькую кипу и, подняв бокал, поблагодарит Бога за его щедрость...

Поднялся легкий ветерок, разрушив наконец покой и неподвижность дня, расшевелив траву и цветы. Пора вставать и выбираться отсюда, на дорогу и вперед. Разве я не обещал себе, что отправлюсь в Калифорнию?»

Дальше, испробовав уже и самолет, и поезд, я решил продолжать свое западное путешествие автостопом; и меня тут же мобилизовали на борьбу с пожарами. Родителям я писал:

«В Британской Колумбии дождей не было уже больше тридцати дней, и повсюду свирепствуют лесные пожары (вы наверняка о них читали). Существует нечто вроде закона об общей обязанности, и лесные власти имеют право мобилизовать любого, кто покажется им подходящим. Я был рад этому новому для меня опыту и целый день провел в лесу с такими же, как я, немного ошеломленными мобилизованными; мы таскали туда-сюда пожарные шланги, изо всех сил стараясь быть полезными. Хотя я им был нужен только на один пожар, и, когда мы пили пиво над его дымящимися остатками, я чувствовал гордость от принадлежности к братству смельчаков, покоривших огненную стихию.

В это время года Британская Колумбия словно околдована. Низкое небо даже в полдень отдает пурпуром от дыма многочисленных пожаров, а в воздухе разливается отупляющий неподвижный зной. Люди не ходят, а неторопливо ползают, как в замедленном фильме, и ни на минуту вас не покидает чувство неотвратимости конца. В церквях возносятся мольбы о дожде, и Бог только знает, какие ритуалы во имя небесной влаги совершаются не на людях. Каждую ночь где-то ударяет в землю молния, и новые сотни акров ценной древесины вспыхивают, как трут. А то происходит и неожиданная, беспричинная вспышка – так формируется многоочаговая раковая опухоль в обреченном организме.

Не желая быть вновь мобилизованным на борьбу с пожарами (денек я поразвлекся, ну и хватит!), я сел в автобус компании «Грейхаунд», чтобы преодолеть оставшиеся шестьсот миль до Ванкувера.

Из города я на катере отправился на остров Ванкувер и там спрятался в гостевом доме в маленьком городке Кваликум-Бич (мне нравилось название, потому что оно мне напоминало имя «Тадикум», принадлежавшее жившему в XIX веке немецкому биохимику, а также слово «колхикум» – название осеннего крокуса). Там я позволил себе несколько дней отдохнуть, и даже сочинил родителям письмо в восемь тысяч слов, закончив его следующим образом:

«После ледниковых озер вода Тихого океана кажется слишком теплой (около семидесяти пяти градусов) и расслабляющей. Сегодня я отправился порыбачить в компании с приятелем, офтальмологом по имени Норт, который работал в больнице Марии и в «Национальной», а теперь практикуется в «Виктории». Он называет Ванкувер «маленьким кусочком небес, кото-

рый почему-то остался на земле», и я думаю, что он прав. Тут вам и лес, и горы, и озера, и океан... Кстати, я поймал шесть лососей: здесь только забросишь, как сразу клюет; этими серебряными красавцами я завтра утром позавтракаю.

Через два или три дня я отправлюсь в Калифорнию и, вероятно, на автобусе «Грейхаунд». Как я понял, здесь любят тех, кто просит подвезти, а иной раз и стреляют без предупреждения».

В Сан-Франциско я приехал вечером в субботу, и тем же вечером меня пригласили на ужин друзья из Лондона. На следующее утро они за мной заехали, и мы отправились смотреть мост через пролив Золотые Ворота, вдоль поросших соснами склонов горы к лесу Мьюра, в котором царит торжественная, как в соборе, тишина. Под сенью секвой я в благоговении замолчал и именно в этот момент решил, что останусь в Сан-Франциско, в этих чудесных местах, до конца своих дней.

Мне предстояло сделать неисчислимое множество дел. Я должен был получить вид на жительство, а также найти место работы – какую-нибудь больницу, где, пока я не получу документы, я смог бы работать неофициально и без зарплаты. Нужно было выписать из Англии все мои вещи – одежду, книги, бумаги и (не в последнюю очередь) мой верный «нортон». Я обязан был иметь на руках кучу документов, и, кроме всего, у меня почти не осталось денег.

В письмах к родителям я мог стать поэтом-лириком, но сейчас мне надлежало быть прагматиком и практиком. Свое огромное письмо из Кваликум-Бич я завершал благодарственными словами:

«Если я останусь в Канаде, у меня будет достаточно большая зарплата и немало свободного времени. Мне удастся кое-что откладывать, и я надеюсь, что смогу вернуть часть средств, которые вы с такой щедростью вкладывали в меня в течение двадцати семи лет. Что касается прочих ваших вложений, которые трудно выразить в цифрах, я смогу возместить их тем, что буду жить счастливой и полезной жизнью, поддерживая с вами связь и стараясь видеть вас так часто, как это будет возможно».

Теперь же, спустя неделю, все изменилось. Я был не в Канаде, уже не собирался посвятить свою жизнь Канадским ВВС и не думал о возвращении в Англию. Я вновь написал родителям – со страхом, чувством вины, но решительно – и сообщил о своем намерении. Я представлял, что они разгневаются и станут упрекать меня за мое решение: как я мог столь грубо (и, скорее всего, намеренно) предать их? Повернуться к ним спиной! И не только к ним, но и ко всей семье, к друзьям, Англии!

Их письмо светилось благородством; о том, что им также было грустно расставаться, моя мать писала словами, которые до сих пор, по истечении пятидесяти лет, рвут мне душу. Такие слова из ее уст можно было услышать только при крайних обстоятельствах – она редко говорила о своих чувствах:

*13 августа 1960 года*

Мой милый Оливер! Огромное спасибо тебе за письма и открытки. Я прочитала их все – гордясь твоим литературным дарованием, радуясь, что тебе так нравится поездка, и печалась при мысли о том, как долго тебя с нами нет и не будет. Когда ты родился, все поздравляли нас и радовались, что у нас так много чудесных сыновей. Где вы теперь? Я чувствую себя одинокой и лишенной тепла. Призраки обитают в нашем доме. Я хожу по пустым комнатам, и чувство утраты овладевает всем моим существом.

Мой отец писал несколько иным тоном: «Мы вполне примирились с тем, что наш дом в Мейпсбери опустел». Но затем, в постскриптуме, он добавил:

Когда я говорю, что мы примирились с нашим пустым домом, то, конечно же, это полуправда. Едва ли стоит говорить, как нам тебя не хватает все это время. Не хватает твоего постоянно радостного настроения, твоих яростных атак на холодильник и кладовую, твоей игры на фортепиано, твоих занятий штангой, ваших с «нортоном» неожиданных появлений среди ночи. И эти, и прочие воспоминания навсегда останутся с нами. Когда мы смотрим на пустой дом, у нас сжимается сердце и мы чувствуем, что потеряли. И все-таки мы понимаем, что ты сам должен выбирать свой путь в этом мире и именно за тобой остается главное решение.

Отец писал о «пустом доме», а мать спрашивала «Где вы теперь?» и писала, что в доме обитают только «призраки».

Но в доме жили не только призраки, там был кое-кто вполне реальный, например, мой брат Майкл.

Майкл был «странным» сыном с самого раннего детства. Он всегда отличался от нас: ему было трудно общаться с людьми, у него не было друзей, и жил он в своем собственном мире.

Любимым увлечением нашего старшего брата Марка, с самого раннего детства, были языки, и к шестнадцати годам он говорил на полудюжине из них. Дэвид жил в мире музыки и мог бы стать профессиональным музыкантом. Я же более всего любил науку. Но никто из нас ничего не знал о том особом, внутреннем, мире, в котором жил Майкл. И вместе с тем он был очень умен и начитан; читал он постоянно, имел отличную память и, похоже, именно в книгах, а не в реальной жизни находил сведения о том, как устроен мир. Старшая сестра нашей матери, тетюшка Энни, которая сорок лет возглавляла школу в Иерусалиме, считала Майкла настолько необычным мальчиком, что оставила ему всю свою библиотеку, хотя последний раз видела его в 1939 году, когда ему было только одиннадцать.

Нас с Майклом в начале войны эвакуировали, и восемнадцать месяцев мы провели в Брэдфилде, в жуткой закрытой школе, директор которой, явный садист, получал удовольствие от того, что лупил по задницам маленьких мальчиков, находившихся полностью в его власти<sup>8</sup> (именно там Майкл выучил наизусть диккенсовских «Николаса Никльби» и «Дэвида Копперфильда», хотя ни тогда, ни потом он открыто не сравнивал нашу школу со школой Дотбойз-Холл, а нашего директора – с мистером Криклем).

В 1941 году Майкл, которому тогда исполнилось четырнадцать, отправился в другую закрытую школу, Колледж Клифтон, где над ним безжалостно издевались. В «Дяде Вольфрамe» я написал, как у Майкла сформировался его первый психоз.

Моя тетюшка Лен, которая тогда гостила у нас в доме, проследила за Майклом, когда тот, наполовину голый, вышел из ванной.

– Посмотрите на его спину, – сказала она моим родителям. – Она вся в рубцах и синяках. Если такое происходит с его телом, что происходит с головой?

Родители были страшно удивлены; они сказали, что ничего такого не замечали и думали, что Майклу в школе хорошо – никаких проблем и все «отлично».

Вскоре после этого, когда ему исполнилось пятнадцать, Майкл и стал жертвой психоза. Он понял, что вокруг него начал сжиматься таинственный, враждебный мир. Теперь он верил, что является «избранником бога-бичевателя», а также объектом воздействия со стороны «садистического Провидения». В это же время у него начали появляться мессианские фантазии и иллюзии – его терзают и наказывают только потому, что он – Мессия, тот, которого так долго ждали. Переходящий от состояния восторженного счастья к крайней степени страдания, мечущийся между фантазией и реальностью, чувствуя, что сходит с ума (или что уже

---

<sup>8</sup> Я подробно писал об этой школе и о том, какое влияние она на нас оказала, в «Дяде Вольфрамe».

сошел), Майкл больше не мог ни спать, ни отдыхать. В крайнем возбуждении он бродил взад и вперед по дому, топал ногами, останавливался, вперив во что-нибудь взгляд, галлюцинировал, кричал...

Я боялся его, боялся за него, боялся того кошмара, который для Майкла стал действительностью. Что станет с ним и не случится ли что-нибудь подобное и со мной? Именно в это время я устроил у нас в доме свою лабораторию, заткнув таким образом уши и закрыв глаза на безумие Майкла. Не то чтобы я был к нему равнодушен, нет, я ему страстно сочувствовал, понимал, через что ему приходится проходить. Но я держал дистанцию, и я создал собственный мир, где царит наука, чтобы не поддаться искушению хаоса и безумия.

Все это оказало на моих родителей разрушительное воздействие. Они были встревожены, им было жаль Майкла, они испытывали ужас и, главное, недоумение. Для того, что произошло, у них было слово – «шизофрения». Но почему именно Майкл стал ее жертвой и в столь раннем возрасте? Неужели это из-за побоев, жертвой которых он стал в Клифтоне? Или проблема была в генах? Майкл никогда не был обычным ребенком: неуклюжий, вечно обеспокоенный, явный «шизоид» – задолго до своего психоза. Или – об этом родители не могли говорить без боли – это результат того, как они с ним обращались? Но, что бы это ни было – природа или воспитание, экология или питание, – медицина вполне могла им помочь. Когда Майклу исполнилось шестнадцать, его положили в психиатрическую клинику и подвергли двенадцати сеансам шоковой инсулиновой терапии, которая опустила уровень сахара в его крови так низко, что он отключился, и сознание к нему вернулось только тогда, когда ему начали капать глюкозу. В 1944 году подобные методы были передовым фронтом борьбы с шизофренией; вторым эшелон, в случае необходимости, шли электрошоковое воздействие и лоботомия. Транквилизаторы были открыты только через восемь лет.

Было ли это результатом инсулиновой комы или же просто шел естественный процесс выздоровления, но Майкл вернулся домой через три месяца. Он уже не страдал от психоза, но был внутренне глубоко потрясен, осознав, что уже не может жить нормальной жизнью, – в клинике он прочитал книжки Ойгена Блэйлера «Преждевременное слабоумие, или Разновидности шизофрении».

Марк и Дэвид с удовольствием ходили в дневную школу в Хэмпстеде. Школа находилась в нескольких минутах ходьбы от нашего дома, и Майкл был рад составить им компанию. Если психическое заболевание и изменило Майкла, это не бросалось в глаза. К тому же родители полагали его состояние чисто «медицинской» проблемой, болезнью, от которой можно полностью излечиться. Майкл же понимал свой психоз совершенно иначе: он чувствовал, что у него открылись глаза на то, о чем он никогда раньше не думал, а именно – на униженное положение рабочих во всем мире и на их эксплуатацию капиталистами. Майкл начал читать коммунистическую газету «Дейли уоркер» и стал частым гостем в коммунистическом книжном магазине на Ред-Лайон-сквер. Он буквально пожирал книги Маркса и Энгельса, считая каждого из них пророком, а то и мессией новой эры, которая должна вскоре установиться в мире.

К тому моменту, когда Майклу исполнилось семнадцать, Марк и Дэвид закончили медицинский колледж. Майкл не хотел становиться врачом и вообще считал, что школы с него довольно. Он хотел пойти работать – разве рабочие не являются «солью» этого мира? У одного из пациентов моего отца была большая бухгалтерская фирма в Лондоне, и он сказал, что будет рад взять Майкла на работу учеником бухгалтера или в любом ином качестве – что тому понравится. В отношении того, что ему нравится, у Майкла не было сомнений: он хотел быть посланником, курьером, хотел доставлять письма и пакеты, слишком важные или срочные, чтобы их можно было доверить почте. В этом деле он был абсолютно скрупулезен: каким бы малозначительным ни было письмо или пакет, которые ему поручали доставить, он поставил себе за правило вручать их только адресату, и никому более. Ему нравилось ходить по Лондону, обе-

дая бутербродами где-нибудь на парковой скамейке с «Дейли уоркер» в руках. Как-то Майкл поведал мне, что с виду пустые и банальные сообщения, которые он доставляет, имеют скрытое, тайное значение, понятное только тому, для кого они предназначены, – именно поэтому их нельзя никому передоверять. Хотя на первый взгляд он и выглядел как обычный курьер, доставляющий обычные сообщения, все было совсем не так. Об этом он никому не рассказывал (он знал, что его могут объявить сумасшедшим – настолько все это выглядело странным), поскольку стал думать о наших родителях, о своих старших братьях и обо всей медицинской братии как о людях, которые только и ждут, чтобы обесценить и «медикализовать» все, что он делал и о чем думал; а уж если проявится хоть малая толика мистицизма – это сразу объявят симптомом психоза. Но я-то был его младшим братом, мне было всего двенадцать, и я не был этим «медиком», а был способен выслушать его с сочувствием и пониманием, даже если все и не понимал.

Достаточно часто в сороковые годы, а потом и в пятидесятые, когда большую часть времени я находился в школе, Майкл проваливался в психоз, у него начинались галлюцинации и бред. Иногда он предупреждал об этом заранее, прося помощи, но не словами, а каким-нибудь экстравагантным поступком: бросал подушку или поднос на пол в офисе психиатра (он посещал врача со времени первого психоза). Все понимали, что это означало: «Я теряю над собой контроль, возьмите меня в больницу».

В иных случаях он ни о чем не предупреждал, но впадал в возбужденное состояние – кричал, топал ногами, галлюцинировал. Однажды он швырнул об стену принадлежавшие моей матери чудесные старые напольные часы и в такие моменты пугал меня и родителей. Как мы могли приглашать в дом друзей, коллег, родственников, кого-то еще, когда у нас на верхнем этаже мечется и буйствует Майкл? А что подумают пациенты (и мать, и отец имели офисы дома)? Марк и Дэвид также не очень стремились приглашать друзей в сумасшедший дом (так иногда могло показаться). Чувство стыда, позора, атмосфера секретности вошли в нашу жизнь, усугубляя и без того непростое положение, вызванное состоянием Майкла.

Я чувствовал значительное облегчение, когда на выходные или каникулы уезжал из Лондона. Это был отдых, кроме всего прочего, и от Майкла, его подчас непереносимого присутствия. И вместе с тем бывали моменты, когда природная мягкость натуры брата, его приветливость и чувство юмора брали верх над болезнью. В такие моменты мы понимали, что под покровом шизофрении в нем живет настоящий, добрый и разумный Майкл.

Когда в 1951 году мать узнала о моей гомосексуальности и пожалела, что я родился, она говорила об этом (хотя в ту пору я еще всего не понимал), понуждаемая отчаянием матери, которая, потеряв одного сына, похищенного шизофренией, осознает, что ей предстоит еще одна потеря – на этот раз в связи с гомосексуальностью, «состоянием», которое считалось позорным, способным испортить и отравить жизнь. А ведь в детстве я был ее любимым сыном, ее «маленьким боссом», «ягненокком». Теперь же я стал «одним из этих» – тяжкую ношу я ввалил на ее плечи вдобавок к шизофрении Майкла.

Для Майкла и миллионов других людей, страдающих шизофренией, все изменилось – к лучшему или худшему – где-то в 1953 году, когда стал доступен первый транквилизатор, лекарство, которое в Англии называлось «ларгактил», а в США – «торазин». Транквилизатор подавлял и предотвращал галлюцинации и бредовые состояния, так называемые «позитивные симптомы» шизофрении, но пациенту приходилось за это расплачиваться побочными эффектами. Впервые я столкнулся с этим и был шокирован в 1956 году, когда вернулся в Лондон из своей поездки в Израиль и Голландию и увидел Майкла, сгорбившегося и передвигающегося шаркающей походкой.

– У него симптомы болезни Паркинсона, – сказал я родителям.

– Да, – согласились они. – Но с ларгактилом он гораздо спокойнее. Психозов не было уже целый год.

Что чувствовал Майкл – вот вопрос. Симптомы болезни Паркинсона его удручали – ведь до этого он обожал ходить пешком, любил долгие прогулки. Но еще больше он страдал от того, как лекарство действовало на его голову.

Майкл мог продолжать работать на своем месте, но он уже не испытывал тех мистических прозрений, которые придавали его работе курьера глубокий потаенный смысл. Он утратил ясность и остроту зрения, которые позволяли ему видеть мир: все становилось как бы приглушенным, окутанным ватой.

– Это как если бы тебя мягко и нежно убили, – сетовал Майкл<sup>9</sup>.

Когда Майклу сократили дозу ларгактила, симптомы болезни Паркинсона уменьшились, и, что важнее, он почувствовал себя живым; к нему также частично вернулась его способность к мистическим прозрениям – но только для того, чтобы через несколько недель снова погрузить его в глубокий психоз.

В 1957 году, когда я уже учился на медицинском отделении и интересовался вопросами работы мозга и устройства сознания, я позвонил психиатру, занимавшемуся Майклом, и попросил о встрече. Доктор Н. был очень приличным, разумным человеком, который знал Майкла уже четырнадцать лет, с момента первого приступа заболевания. Доктор был тоже обеспокоен тем, что его пациенты, принимающие ларгактил, сталкивались с новыми проблемами, которые это лекарство провоцировало. Он пытался титровать лекарство, найти оптимальную дозу, которая была бы ни слишком большой, ни слишком маленькой. Но здесь, как он признался, особых надежд питать не стоило.

Мне было интересно, подвержены ли разбалансировке под воздействием шизофрении те системы мозга, которые отвечают за постижение (или производство) значений, значимостей и интенциональности, системы, постигающие чудесное и тайное, осознающие красоту искусства и науки, и приходит ли на место этих систем ментальный мир, перенасыщенный эмоциями и образами искаженной реальности. Мне казалось, что эти ментальные структуры утратили якорь, а потому любые попытки титровать их или подавлять просто сбросят человека с высот патологии в яму серости и убожества, некое подобие интеллектуальной и эмоциональной смерти.

Отсутствие у Майкла навыков социализированного существования и простейших бытовых умений (он с трудом мог приготовить себе чашку чая) требовало со стороны врача поиска социальных и «экзистенциальных» подходов к болезни. Транквилизаторы либо не оказывают, либо оказывают очень незначительное воздействие на «негативные» симптомы шизофрении – прогрессирующий аутизм, примитивизацию и снижение интенсивности эмоциональных состояний и т. д., что, в силу неявного характера этого процесса, переводящего симптоматику в хронический статус, может быть в гораздо большей степени опасным для качества жизни больного, чем любые позитивные симптомы. Это вопросы не только медикаментозного воздействия, но и организации такой жизненной среды, которая сделала бы жизнь больного значимой и способной приносить радость – со вспомогательными, поддерживающими системами, обязательным участием окружающих – не всегда родственников, воспитанием чувства самоуважения, поощрением других к тому, чтобы те выказывали больному знаки уважения и поддержки, – вот о

---

<sup>9</sup> Спустя годы, когда я работал в больнице Бронкса, мне довелось заниматься глубокими нарушениями двигательной системы, и я слышал сходные жалобы от сотен больных шизофренией, которых лечили большими дозами таких лекарств, как торазин, а также только появившимися лекарствами из категории бутирофенонов, такими, как галоперидол.

чем стоило думать и что нужно было мобилизовать. Проблема Майкла не была исключительно «медицинской».

Я мог, должен был показывать Майклу больше любви и поддержки, пока находился в медицинской школе в Лондоне. Мог бы ходить с ним в рестораны, в театр, на концерты (сам он этого никогда не делал), мог поехать на море или за город. Всего этого я не делал, и стыд – я оказался плохим братом, неспособным прийти на помощь, – стыд я испытываю и сейчас, шестьдесят лет спустя.

Не знаю, как Майкл отреагировал бы на такое мое предложение. У него была своя, пусть и лимитированная, сфера бытия, и он строго контролировал ее границы, предпочитая не отступать от правил, которые для себя выработал.

Теперь, когда он сидел на транквилизаторах, жизнь его была менее бурной, но, как мне казалось, менее богатой и более ограниченной. Он больше не читал «Дейли уоркер», не посещал книжный магазин на Ред-Лайон-сквер. Раньше, когда он разделял марксистские убеждения с другими людьми, у него было чувство, что он – часть коллектива; теперь же, когда его пыл угас, он во все большей степени становился одиноким. Отец надеялся, что местная синагога могла бы оказать Майклу моральную и религиозную поддержку, вернуть ему чувство принадлежности братству людей. В молодости брат был довольно религиозен: после обряда посвящения в мужчины, бар-мицвы, он носил цицит и тфилин, а также, когда была возможность, ходил в синагогу. Но теперь и в этой сфере жизни пыл его угасал. Он потерял интерес к богослужению, равно как и к лондонской еврейской общине, которая неуклонно уменьшалась, поскольку члены ее либо эмигрировали, либо, вступая в смешанные браки, ассимилировались с местным населением.

И читать обычные книги он стал значительно меньше, а газеты только иногда бегло просматривал. А ведь раньше он читал со всепоглощающей страстью – не случайно же тетушка Энни подарила ему всю свою библиотеку!

Я думаю, что именно благодаря (а может быть, вопреки) транквилизаторам Майкл постепенно впадал в состояние безнадежной апатии. Правда, в 1960 году, когда Р. Д. Лэнг опубликовал свою блестящую книгу «Расколотое “Я”», Майкл пережил период возрождения надежды. Явился врач, психиатр, который видел в шизофрении не болезнь, а целостную, в чем-то даже благородную форму умственной жизни. И хотя Майкл иногда называл всех нас, остальных, принадлежащих к нешизофреническому миру, «отвратительно нормальными» (причем фразу эту он произносил с яростью), вскоре он и сам устал от лэнговского «романтизма», как он его называл, и решил, что этот ученый – несколько опасный глупец.

Когда на свой двадцать седьмой день рождения я решил покинуть Англию, это было, кроме прочих мотивов, вызвано желанием уехать подальше от безнадежно трагической ситуации, в которой оказался мой бедный брат. Но, с другой стороны, я думал о том, чтобы уже по своему и вполне независимо заняться исследованием шизофрении, равно как и прочих расстройств мозга и сознания, на собственных пациентах.



## Сан-Франциско

Наконец, я приехал в Сан-Франциско, город, о котором мечтал много лет. Но у меня не было вида на жительство, а потому мне нельзя было официально устроиться на работу и начать зарабатывать деньги. Я поддерживал связь с Майклом Кремером, моим начальником в отделении неврологии в Мидлсексе (он одобрял мой план увильнуть от военной службы, как он сказал, «в наше время совершенно пустой траты времени»), и, когда я сообщил ему, что думаю поехать в Сан-Франциско, он посоветовал мне поискать работавших в больнице Маунт-Цион нейрохирургов Гранта Левина и Берта Фейнштейна, его коллег. Эти люди были пионерами стереотаксической хирургии – техники, которая позволяла совершенно безопасно вводить иглу в крохотные и иными способами недостижимые участки мозга<sup>10</sup>.

Кремер написал письмо-рекомендацию, и, когда я встретил Левина и Фейнштейна, они согласились взять меня на работу неофициально. Мне было предложено оценивать состояние их пациентов до и после операции; зарплату они мне положить не могли, так как у меня не было «зеленой карты», но готовы были регулярно платить мне по двадцать долларов (двадцать долларов в те времена были большими деньгами; номер в мотеле стоил в среднем три доллара, а монетки достоинством в пенни все еще использовались в парковочных счетчиках).

Левин и Фейнштейн сказали, что через несколько недель смогут найти мне комнату в больнице, а пока, с теми небольшими деньгами, что у меня были, я устроился в общежитии ИМКА, христианской юношеской организации, у которой было большое помещение на Эмбаркадеро, напротив Ферри-билдинг. Здание выглядело потрепанным и обветшалым, но уютным и приветливым. Я въехал в комнату на шестом этаже.

Где-то около одиннадцати вечера раздался стук в дверь. Я сказал: «Войдите!», поскольку дверь была не заперта. Молодой человек просунул голову в комнату и, увидев меня, воскликнул:

– Простите, я ошибся!

– Нельзя быть ни в чем уверенным, – сказал я, с трудом осознавая, что это говорю я. – Почему бы вам не войти?

Мгновение нерешительность владела им, потом он вошел и запер за собой дверь. Так я был посвящен в жизнь ИМКА – постоянное открывание и закрывание дверей. Некоторые из соседей, как я заметил, за ночь могли принять до пяти гостей. Особое, беспрецедентное чувство свободы царило вокруг; это был не Лондон, не Европа, и я мог делать все, что захочу – в определенных границах.

Через несколько дней в больнице появилась комната для меня; я туда переехал, и там оказалось не хуже, чем в ИМКА.

Последующие восемь месяцев я работал на Левина и Фейнштейна; моя официальная интернатура в Маунт-Ционе должна была начаться только в следующем июле.

Левин и Фейнштейн отличались друг от друга настолько, насколько это было возможно: Грант Левин был нетороплив и рассудителен, Фейнштейн – страстен и порывист; но они прекрасно дополняли друг друга, как когда-то мои начальники по Лондону Кремер и Джиллиатт (а также как Дэбенхэм и Брукс, мои руководители в хирургическом отделении больницы Королевы Елизаветы в Бирмингеме).

---

<sup>10</sup> К этому моменту стало известно, что небольшие повреждения в определенных участках мозга (наносимые точечным введением алкоголя или же замораживанием) способны разорвать цепь нейронов, гиперактивность которой может стать причиной многих симптомов болезни Паркинсона. Подобные стереотаксические методы вышли из употребления в 1967 году с появлением диоксифенилаланина (леводопы), но в настоящий момент наблюдается их возрождение в форме техники имплантирования электродов, а также использования глубокой стимуляции в других участках мозга.

Такого рода союзы восхищали меня еще в детстве. В годы, когда я увлекался химией, я читал о партнерстве Кирхгофа и Бунзена и о том, насколько значительным фактором открытия спектрографии оказалось то, что у них были такие разные головы. В Оксфорде я испытал настоящее восхищение, когда, зная, насколько разными были ее авторы, читал знаменитую работу Джеймса Уотсона и Фрэнсиса Крика о ДНК. А когда я без особого энтузиазма трудился интерном в Маунт-Ционе, мне нужно было прочесть кое-что об абсолютно несовместимой паре исследователей, Дэвиде Хабеле и Торстене Визеле, которые совершенно невероятным и прекрасным способом открыли основания физиологии зрения.

Кроме Левина, Фейнштейна, а также их ассистентов и медсестер, в отделении был инженер и физик (всего нас было десять человек); и частенько нас навещал физиолог Бенджамин Лайбет<sup>11</sup>.

Один из пациентов особенно мне запомнился, и в ноябре 1960 года я написал о нем родителям:

Помните рассказ Сомерсета Моэма о человеке, который был наказан брошенной им девушкой с острова постоянной икотой? Один из наших пациентов, кофейный барон, страдавший от энцефалита, шесть дней после операции икал, и эту икоту не могли снять никакие средства, мыслимые и немыслимые; и уже шла речь о блокировке диафрагмального нерва. Тогда я предложил привезти хорошего гипнотизера – а вдруг поможет? И даже если не поможет, то вряд ли навредит.

Мое предложение было принято скептически (я и сам сомневался в его разумности), но Левин и Фейнштейн согласились вызвать гипнотерапевта, поскольку ничто другое не помогло. К нашему удивлению, гипнотизеру удалось ввести больного в транс, после чего он дал команду: «Когда я щелкну пальцами, вы проснетесь и уже не будете икать». Пациент проснулся. Икоты как не бывало – ни тогда, ни потом.

Хотя в Канаде я вел дневник, прибыв в Сан-Франциско, я бросил это занятие и не обновлял, пока вновь не оказался в дороге. Тем не менее я продолжал писать длинные письма родителям и в феврале 1961 года сообщил им, что на конференции в Калифорнийском университете встретился с двумя своими идолами, Олдосом Хаксли и Артуром Кёстлером:

После обеда Олдос Хаксли произнес грандиозную речь об образовании. До этого я никогда его не видел и теперь был поражен его ростом, а также бледностью и худобой. Он уже почти ослеп, постоянно моргает и подносит к глазам сложенную в кулак кисть руки (сперва я недоумевал, но потом понял, что, глядя сквозь сформированное таким образом отверстие, он хоть что-то видит). Волосы его, откинутые назад, выглядят как волосы трупа, а тусклая кожа буквально висит на его костистом лице. Наклонившись вперед и напряженно вслушиваясь, Хаксли напоминает везалиев скелет в состоянии медитации. Тем не менее его чудесный ум по-прежнему служит ему, согретый остроумием, теплом и красноречием, которые неоднократно поднимали аудиторию из кресел... И наконец, Артур Кёстлер, который выступил с блестящим анализом творческого процесса, но преподнес его так невнятно, что половина аудитории ушла. Кёстлер, кстати, слегка напоминает Кайзера и вообще всех учителей иврита (Кайзер, мой учитель иврита, частенько появлялся в доме, когда я был ребенком). Американские физиономии,

---

<sup>11</sup> Именно в больнице Маунт-Цион Лайбет проводил свои поразительные эксперименты, которые показали, что если пациента попросить сжать кулак или совершить какое-нибудь иное сознательное действие, то мозг регистрирует «принятие решения» почти за полсекунды до того, как человек примет сознательное решение действовать. Хотя испытуемый полагает, что он осуществляет некое движение по своей собственной воле, на проверку оказывается, что его мозг задолго до этого уже принял решение.

как правило, не знают складок и морщин, а вот еврейско-литовское лицо Кёстлера было буквально изрыто глубокими следами, которые на лицах оставляют отчаяние и ум, – почти неприличная картина в этой ассамблее гладколицых.

Грант Левин, мой доброжелательный и щедрый босс, достал всему неврологическому отделению билеты на конференцию «Сознание под контролем». Он вообще часто распределял билеты на музыкальные, театральные и прочие мероприятия, которые проходили в Сан-Франциско, – обильная диета, которая заставляла меня любить город все больше и больше. Я писал родителям о том, как мне удалось послушать симфонический оркестр Сан-Франциско под управлением Пьера Монтё:

Он шел, как мне казалось, на один такт позади оркестра. Программа включала «Фантастическую симфонию» Берлиоза (сцена казни всегда напоминает мне эту ужасную оперу Пуленка<sup>12</sup>), «Тиля Уленшпигеля», «Игры» Дебюсси (грандиозная музыка, которая могла бы быть написана ранним Стравинским) и кое-что по мелочи из Керубини. Самому Монтё уже под девяносто, фигурой он похож на грушу, ходит вразвалочку и носит грустные французские усы, которые делают его похожим на Эйнштейна. Публика по нему с ума сходит, частично, я думаю, извиняясь за то, что шестьдесят лет назад на него шикала, а частично из некоей снисходительной мифомании, в соответствии с которой преклонный возраст – уже рекомендация. И вместе с тем можно с ума сойти, как только подумаешь, сколько репетиций, премьер, сокрушительных провалов, фантастических побед может насчитать в своем багаже этот человек, сколько миллиардов непослушных нот пронеслось через его мозг за прошедшие девяносто лет.

В том же письме я рассказал о странном опыте, который пережил на фестивале поп-музыки в Монтерее:

Представили меня хозяину самым странным образом, сказав «он здесь» и проведя меня в ванную комнату. Там я увидел фигуру, напоминающую Христа с отчаянно поднятой вверх бородой, которая держала зад под горячим душем. Вне всякого сомнения, мое появление – в черной сверкающей коже – для него было столь же шокирующим. У него был болезненный перианальный абсцесс, который я вскрыл грубой иглой, стерилизованной на огне спички. Был мощный выброс гноя, громкий рев и тишина – он вырубился. Когда он пришел в себя, ему было значительно лучше, а я испытал новую для себя радость: я был суровым практиком, умелым хирургом, пришедшим на помощь страдальцу-художнику. Позже, этим же днем, состоялась безумная вечеринка в стиле битников, на которой молодые женщины в очках читали стихи о своих телах.

В Англии, стоит тебе открыть рот, ты сразу становишься объектом классификации (ты принадлежишь рабочему классу, среднему классу, высшему классу и т. д.); пересекать границы, разделяющие классы, если не невозможно, то совсем непросто – здесь царит система, которая, не будучи установленной открыто, является столь же жесткой и столь же инертной, как и кастовая система в Индии. В Америке же, как я себе представлял, сформировалось бесклассовое общество. Здесь любой, вне зависимости от места рождения, цвета кожи, религии, уровня образования или профессии, мог запросто встречаться с другими людьми – просто как с людьми, братьями и сестрами по биологическому роду. Профессор здесь мог общаться с водителем грузовика, и никакие категории не мешали этому общению.

---

<sup>12</sup> Имеется в виду опера Ф. Пуленка «Диалоги кармелиток» (1956). – *Примеч. ред.*

Сходное ощущение подобной демократии, равенства и братства у меня бывало, когда в 1950-е годы я ездил по Англии на своем мотоцикле. Мотоциклы, как мне представлялось, даже в консервативной Англии способны были преодолевать любые барьеры, позволяя открытое и свободное общение всех со всеми. «Классный у тебя байк!» – говорил один, и с этого момента начинался разговор. Мотоциклиста отличает дружелюбие; мы приветственно махали друг другу, встречаясь на шоссе, легко вступали в разговор в кафе. Мы были чем-то вроде романтического бесклассового общества внутри общества классового.

Поняв, что мне нет никакого смысла выписывать свой мотоцикл из Англии, я решил купить новый здесь – «нортон-атлас», универсальную машину, которую я мог использовать не только на шоссе, но и на пересеченной местности, в том числе и на горных дорогах. Держать мотоцикл я собирался во дворе больницы.

Я сошелся с компанией таких же, как и я, мотоциклистов, и каждое воскресенье мы встречались в городе. Потом, переехав пролив Золотые Ворота по мосту, мы попадали на узкую, пахнущую эвкалиптами дорогу, которая, петляя, вела к горе Тамалпаис, и, промчавшись вдоль высокого горного кряжа, слева от которого простиралась вода Тихого океана, спускались по широким кольцам шоссе на пляж Стинсон, чтобы позавтракать, а заодно и пообедать (иногда мы уезжали к заливу Бодега, который вскоре стал всемирно известен благодаря фильму Хичкока «Птицы»). Во время этих утренних прогулок мы всеми клеточками тела ощущали биение жизни; свежий воздух овеивал наши лица, а ветер будоражил тела – ощущения, известные только мотоциклистам. Невыразимая сладость бытия – вот что я вынес из этих прогулок, и ностальгические воспоминания о них время от времени пробуждает во мне запах эвкалиптовых листьев.

В будние дни я обычно ездил по Сан-Франциско в одиночестве. Но однажды во время такой прогулки я подъехал к группе – весьма отличной от нашей, спокойной и респектабельной компании с пляжа Стинсон. Это была шумная, раскрепощенная толпа мотоциклистов, сидевших на своих машинах с банками пива в руках. Подъехав, я заметил на их куртках логотипы «Ангелов ада», но поворачивать было поздно, поэтому я приблизился и сказал: «Привет». Моя смелость и английский акцент заинтриговали «Ангелов», как и то (как они узнали потом), что я был врачом. Меня сразу же приняли в сообщество, даже без обычных в данном случае ритуалов. Я был приятен и прост в обращении, я был врачом, и время от времени, когда кому-то из них бывала нужна помощь, эти парни звали меня. Я не принимал участия ни в их шумных поездках, ни в прочих увлечениях, и наши не очень тесные и достаточно неожиданные (как для меня, так и для них) отношения сами собой сошли на нет, когда на следующий год я уехал из Сан-Франциско.

Если первые двенадцать месяцев, отделявших момент моего отъезда из Англии до начала моей официальной интернатуры в Маунт-Ционе, были полны духом приключений и волнующими неожиданностями, то сама интернатура показалась мне делом нудным, утомительным и выматывающим: я делал то, что уже делал когда-то в Англии – по несколько недель работал то в терапии, то в хирургии, то в педиатрическом отделении. Дальнейшее пребывание в интернатуре казалось мне бюрократизированной тратой времени. Правда, выхода у меня не было: все иностранные выпускники медицинских учебных заведений обязаны были проходить двухгодичную интернатуру, вне зависимости от уровня своей предварительной подготовки.

Но были и плюсы. Я еще год мог оставаться в столь полюбившемся мне Сан-Франциско, причем бесплатно, поскольку стол и кров мне предоставляла больница. Среди однокашников-интернов, приехавших из разных штатов, встречались и весьма одаренные – у больницы Маунт-Цион была прекрасная репутация, что, в сочетании с возможностью провести целый год в Сан-Франциско, очень привлекало молодых врачей – документы в интернатуру при Маунт-Ционе подавали сотни специалистов, и больница могла позволить себе быть разборчивой.

Особенно близок я был с Кэрол Бернетт, талантливой афроамериканкой из Нью-Йорка, которая знала множество языков. Однажды нас обоих подрядили ассистировать во время сложной полостной операции, хотя все, что мы делали, – это держали ретракторы и подавали инструменты хирургам. Со стороны врачей не было никаких попыток ни показать нам что-нибудь, ни чему-нибудь научить, и, за исключением того, что время от времени нам отрывисто приказывали либо быстро подать зажим, либо потверже держать ретрактор, нас не замечали. Между собой хирурги говорили достаточно много и в один из моментов операции вдруг перешли на идиш, и один из них высказался достаточно гнусно по поводу того, как это ужасно – иметь в операционной черного интерна. У Кэрол ушки сразу оказались на макушке, и она сказала что-то на беглом идиш. Хирурги покраснели, и операция внезапно прервалась.

– Вы что, не слышали, как ниггеры говорят на идиш? – добавила Кэрол колко.

Я думал, хирурги выронят инструменты. Крайне смущенные, они извинились и до конца нашей хирургической практики старались быть по отношению к ней максимально предупредительными и вежливыми (нам было интересно, оказал ли этот эпизод на них долговременное влияние – после того, как они узнали Кэрол лучше и она внушила им безусловное уважение).

По выходным, если я не дежурил, то большую часть времени, оседлав мотоцикл, посвящал изучению Северной Калифорнии. Меня восхищала история первых золотоискателей; особое чувство у меня вызывало шоссе номер сорок девять и маленький город-призрак по имени Копперполь, который я проезжал по пути к «Материнской жиле».

Иногда я ехал по прибрежному шоссе номер один, мимо самых северных секвойных лесов к Эврике, а затем к Кратерному озеру в Орегоне (для меня тогда не представляло трудностей промахнуть за раз до семисот миль). Именно в тот год, омраченный монотонной работой в интернатуре, я открыл для себя чудеса Йосемитской долины и Долины Смерти, а также впервые посетил Лас-Вегас, который в те десятилетия еще чистого и незагрязненного воздуха был, словно сияющий в пустыне мираж, виден за пятьдесят миль.

Я находил в Сан-Франциско новых друзей, наслаждался городом, много путешествовал по выходным. Вместе с тем моя подготовка в сфере неврологии едва не застопорилась – если бы не Левин и Фейнштейн, которые приглашали меня на конференции и позволяли осматривать их пациентов.

Еще в 1958 году мой приятель Джонатан Миллер дал мне книгу стихов Тома Ганна «Чувство движения», тогда только вышедшую из печати, и сказал:

– Тебе нужно с ним встретиться, это твой человек.

Я проглотил книгу и решил, что, если я действительно попаду в Калифорнию, первым делом отыщу там Тома Ганна.

Приехав в Сан-Франциско, я навел справки и узнал, что Том находится в Англии, стажирется в Кембридже. Но несколько месяцев спустя он вернулся, и мы встретились на какой-то вечеринке. Мне было двадцать семь, ему около тридцати – не бог весть какая разница, но я был убежден в его особой зрелости и полной уверенности в себе; он отлично понимал, кто он таков, каким даром наделен и что делает. К тому времени он уже опубликовал две книги, я же пока ничего. Я воспринимал Тома как учителя и наставника (хотя и не как пример для подражания: у нас была разная манера письма). В сравнении с ним я был неоформившимся эмбрионом. Будучи не в силах совладать со своей нервозностью, я сообщил Тому, что, хотя мне очень нравятся его стихи, одна из поэм, «Битлз», удручает меня своей садо-мазохистской направленностью. Смутившись, Том мягко указал мне:

– Не следует смешивать поэму и поэта<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Интересно, что, когда в 1994 году вышло «Собрание стихотворений и поэм» Тома Ганна, оказалось, что именно эту

Каким-то образом (не могу даже сказать каким) началась наша дружба, и несколько недель спустя я поехал его навестить. В те годы Том жил в доме номер 975 на улице Филберт, которая, как знают все жители Сан-Франциско (а я этого не знал), обрывается неожиданным спуском в тридцать градусов. Я мчался по улице на своем «нортоне», разогнав его на приличную скорость, и неожиданно почувствовал, что лечу, как лыжник с трамплина. К счастью, мотоцикл приземлился достаточно мягко, но я был по-настоящему напуган – все могло кончиться плачевно. Когда я позвонил у двери Тома, сердце мое бешено стучало.

Том провел меня в комнату, предложил пива и спросил, почему мне так хотелось с ним встретиться. Я просто сказал, что некоторые из его стихотворений затронули что-то в глубине моей души. Том не проявил, казалось, особого интереса. «Какие стихотворения?» – спросил он. Какие? Первым стихотворением Тома, которое я прочитал, было «Вечное движение», и, так как я сам был мотоциклистом, сказал я, оно вступило в резонанс с моей душой, как это случилось за много лет до этого с коротеньким стихотворением Т. Э. Лоуренса «Дорога». И еще мне понравилась его поэма под названием «Мотоциклист: неясное предчувствие смерти», потому что я был уверен, что, как и Лоуренс, погибну во время поездки на мотоцикле.

Не уверен, что я точно знаю, что Том увидел во мне в этот момент, но он проявил ко мне необычное радушие и теплоту, которая в нем гармонично уживалась с мощным интеллектом. Том уже тогда был краток и остроумен, я – многоречив и экспансивен. Он был неспособен к околичностям и обману, но его прямота, как я думаю, всегда шла рука об руку с нежностью.

Иногда Том давал мне почитать рукописи своих стихов. Мне нравилась их сдержанная энергия – самая строгая из всех строгих поэтических форм у него связывала, удерживала и дисциплинировала разгул буйных сил и страстей. Среди новых стихотворений моим любимым было «Аллегория молодого волка» («Не я играю временем, увы: / Оно со мной ведет игру двойную, / За чаем и среди зелени травы»). Это стихотворение соответствовало некоему раздвоенности, заключенной в моей душе, стремившейся, как я полагал, иметь две ипостаси – дневную и ночную. Днем я был бы радушным доктором Оливером Саксом в белом халате, но с наступлением ночи менял свое дневное одеяние на черную кожу байкерского наряда и, никем не узнанный, подобный волку, выскользнув из спящей больницы, стремительно мчался по улицам города, поднимался по извилистым дорожкам горы Тамалпаис и летел на полной скорости к пляжу Стинсон или заливу Бодега. Этой двойственности способствовало то, что вторым моим именем было имя Вулф<sup>14</sup>; Волком меня называли Том и мои друзья-мотоциклисты, хотя для коллег-докторов я был Оливером.

В октябре 1961 года Том дал мне экземпляр своей новой книги «Мой печальный капитан» и написал на титульном листе: «Молодому Волку (не нужно никаких аллегорий) с наилучшими пожеланиями и чувством восхищения, от Тома».

В феврале 1961 года я написал родителям, что у меня теперь есть вид на жительство и теперь я являюсь *bona fide* иммигрантом – «иностранным резидентом». Я также подал заявление о желании принять гражданство, что можно было сделать, не отказываясь от гражданства Великобритании<sup>15</sup>.

Я также упомянул, что в скором времени буду сдавать государственный экзамен – всестороннее испытание для выпускников иностранных медицинских учебных заведений, целью которого является выяснить, на достаточно ли высоком уровне находятся их общенаучные и медицинские знания.

поэму автор решил исключить.

<sup>14</sup> Wolf по-английски «волк». – *Примеч. пер.*

<sup>15</sup> Желание было искренним, но прошло уже более пятидесяти лет, а я все еще не гражданин США. То же произошло и с моим братом в Австралии. Он приехал туда в 1950 году, а гражданство получил только пятьдесят лет спустя.

Еще в январе я написал родителям, что раздумываю «о масштабной поездке через все Штаты, включая Аляску, с обратным маршрутом через Канаду в промежутке между экзаменами и началом интернатуры: всего около 9000 миль. Это была уникальная возможность посмотреть страну и посетить другие университеты».

Теперь же, когда государственные экзамены были сданы и у меня был более подходящий мотоцикл (я продал свой «нортон-атлас» и купил «БМВ» Эр-69), можно было выезжать. Правда, времени у меня оказалось не так много, и я уже не мог включить Аляску в свой всеамериканский маршрут. Родителям я писал:

На своей карте я прочертил красную линию: Лас-Вегас, Долина Смерти, Гранд-Каньон, Альбукерке, Карлсбадские пещеры, Новый Орлеан, Бирмингем, Атланта, Блю-Ридж-парквей, потом Вашингтон, Филадельфия, Нью-Йорк, Бостон. Через Новую Англию в Монреаль, по пути в Квебек. Торонто, Ниагарский водопад, Буффало, Чикаго, Милуоки. Города-близнецы, после чего – Ледник и Уотертонский национальный парк, Йеллоустонский национальный парк, Медвежье озеро, Солт-Лейк-Сити. Наконец, назад в Сан-Франциско. 8000 миль. 50 дней. 400 долларов. Если мне удастся избежать солнечного удара, обморожения, тюремного заключения, землетрясения, пищевого отравления и отказа техники, это будет лучшее время всей моей жизни. Следующее письмо – с дороги.

Когда о своих планах я рассказал Тому, он посоветовал мне вести дневник – хронику моего путешествия под названием «Встреча с Америкой». Он хотел, чтобы потом я прислал этот дневник ему. В пути я был два месяца и за это время заполнил несколько записных книжек, отправляя их Тому одну за одной. Похоже, ему нравились мои описания людей и местности, а также зарисовки различных сценок, и он решил, что у меня есть талант наблюдателя, хотя и корил меня временами за «сарказм и любовь к гротеску». Одна из тетрадок дневника, которую я послал Тому, называлась «Счастье дороги».

### **«Счастье дороги» (1961)**

В нескольких милях к северу от Нового Орлеана мотоцикл начал сдавать. Я съехал с шоссе на бегущую сбоку от шоссе богом забытую тропинку и принялся возиться с мотором. Вскоре, лежа на спине, неким шестым сейсмическим чувством я ощутил отдаленные содрогания земли, похожие на отголоски землетрясения. Шум нарастал, постепенно превращаясь в дребезжание, потом грохот и, наконец, рев, завершившийся скрежетом тормозов и ужасающе громким, но веселым воем клаксона. Я глянул вверх и остолбенел: это был самый большой грузовик из тех, что я когда-либо видел, настоящий Левиафан американских дорог. И тут же нахальная физиономия новоиспеченного Ионы высунулась из бокового окна, а голос с высоты проорал:

– Помощь нужна?

– Слишком старый, – ответил я. – Похоже, тяга полетела.

– Черт! – не без удовольствия прокричал он. – Возьми. И уж если эта полетит, я тебе ногу отрежу! Увидимся!

Он скорчил рожу, весьма двусмысленную, и вывел грузовик обратно на шоссе.

Я ехал все вперед и вперед и вскоре, покинув болотистые долины Дельты, оказался в штате Миссисипи. Дорога прихотливо рыскала из стороны в сторону, прорезая густые леса и открытые пастбища, огибая луга и сады, перебегая по мостам через речки и речушки, которых я уже насчитал с полдюжины; позади оставались деревни и фермы, неподвижно дремавшие под утренним солнцем.

Но когда я въехал в штат Алабама, мотоциклу стало совсем плохо. Прислушиваясь к вариациям издаваемого им шума, я пытался уловить смысл звуков – угрожающих, но малопонятных. Мотоцикл быстро разрушался – это я понимал, но, мало соображая в его устройстве,

да будучи вдобавок и убежденным фаталистом, я не мог даже попытаться как-то изменить его судьбу.

В пяти милях от Тускалузы двигатель закашлял. Поршни заклинило; я отжал сцепление, но один из цилиндров уже дымился. Спрыгнув на шоссе, я отвел мотоцикл на обочину и положил его на землю, потом вышел на дорогу с чистым белым носовым платком в левой руке.

Солнце садилось, и поднимался ледяной ветер; все меньше и меньше машин проносилось по дороге.

Я уже почти оставил надежду и махал платком чисто механически, когда, не веря самому себе, понял, что рядом со мной остановился грузовик. Выглядел он знакомым. Прищурившись, я определил место регистрации: 26539, Майами, Флорида. Да, это был именно он – гигантский грузовик, остановившийся около меня утром.

Когда я подошел, водитель спустился на землю, кивнул в сторону мотоцикла и усмехнулся:

– Все-таки скурвился?

Вслед за ним из кабины выбрался еще один, совсем молодой парень, и все вместе мы обследовали мотоцикл.

– До Бирмингема не отбуксируешь? – спросил я.

– Нельзя. Закон не велит, – ответил водитель.

Потом поскреб кончик подбородка и подмигнул мне:

– Затащим-ка его в грузовик!

Напрягая мышцы и тяжело дыша, мы втокнули тяжелую машину в брюхо дорожного Левиафана. Наконец, нам удалось закрепить его среди мебели, обвязанной веревками, и замаскировать от любопытных глаз грудой мешковины.

Водитель залез в кабину, за ним его спутник, и последним – я. В таком же порядке мы и оказались на широком сиденье. Водитель кивнул мне и уладил формальности:

– Это мой сменщик, Говард. А тебя как звать?

– Волк, – ответил я.

– Не станешь возражать, если я буду звать тебя Волчонком?

– Без проблем, давай, – согласился я. – А как твое имя?

– Мак, – ответил водитель. – Все мы Маки, но я реально Мак, по рождению. Смотри на руке татуировку.

Несколько минут мы ехали молча, искоса изучая друг друга.

Маку было под тридцать, хотя ему можно было подкинуть годков пять в любую сторону. У него было живое, нервное, приятное лицо с прямым носом, твердо сжатыми губами и аккуратно подстриженными усиками. Мак запросто мог бы быть офицером британской кавалерии, а мог играть маленькие романтические роли на сцене или в кино. Таковы были мои первые впечатления.

На нем был обычный головной убор водителя грузовика – фуражка с гербом, а также рубашка, украшенная названием его компании: «Грузовики Эйс-инкорпорейтед». На левом рукаве красовался бейджик с девизом фирмы «Залог внимания и безопасности», а из-под полужакатанного рукава выглядывало и имя – «Мак», обвитое телом могучего питона.

Говард же мог бы сойти за шестнадцатилетнего, если бы не складки, которые от крыльев носа спускались к уголкам рта. Рот его был всегда полуоткрыт и обнажал большие желтоватого оттенка зубы, неровные, но мощные, которые постоянно были заняты пережевыванием жевательной резинки. Глаза у Говарда были бледно-голубого цвета, он был высок и хорошо сложен, но движения его были лишены какой-либо грации.

Через некоторое время Говард повернулся и уставился на меня своими бледными звериными глазами. Поначалу он вперился мне в переносицу, потом поле обзора стало постепенно



расширяться, включая лицо, видимую часть тела, а потом кабину грузовика и даже дорогу, монотонно движущуюся за окном. Внимание его вскоре угасло, сменившись бездумным мечтательным покоем. Эффект поначалу был странный и беспокоящий. И вдруг с внезапным ужасом и сожалением я осознал, что Говард придурковат.

В темноте Мак издал короткий смешок.

– Ну, как тебе наша парочка? – спросил он.

– Скоро узнаем, – ответил я. – Как далеко ты сможешь меня отвезти?

– Хоть на край земли, – сказал Мак. – Может быть, в Нью-Йорк. Мы там будем во вторник, а может быть, и в среду.

Он вновь погрузился в молчание, но через несколько минут спросил:

– Ты когда-нибудь слышал о бессемеровском процессе?

– Ну да, – ответил я. – Проходил в школе, по химии.

– А слышал про Джона Генри, бурильщика-негра? Он тут и жил. Компания, которая прокладывала туннель, привезла паровой бур, чтобы проходить шурфы; и они говорили, будто человек не сможет с ним соревноваться. Негры приняли вызов и послали самого сильного – Джона Генри. У него руки были толщиной в двадцать дюймов, а то и больше. Джон взял по молоту в каждую руку и забил сто буров в скалу быстрее, чем эта машина. А потом лег и помер. Да, приятель. Это страна стали.

Повсюду нам попадались склады металлолома, автомобильные кладбища; мы переезжали через подъездные железнодорожные пути, ведущие к плавильным производствам. Сама атмосфера была пронизана лязгом стали, словно весь этот небольшой городок Бессемер в штате Алабама был одной огромной кузницей. Языки пламени поднимались вверх из топок и с ревом вырывались из высоких труб.

Только однажды я видел город, освещенный языками пламени: мне было тогда семь лет, и это был Лондон 1940 года, ставший объектом бомбардировок.

После того как мы промахнулись Бессемер и Бирмингем, Мак разговорился и рассказал о себе.

Он купил грузовик за двадцать тысяч пятьсот – пятьсот сразу, двадцать тысяч в рассрочку на год. Грузовик мог брать до тридцати тысяч фунтов груза и ездить повсюду – Канада, Штаты, Мексика, были бы приличные дороги да возможность делать деньги. В среднем за десятичасовой рабочий день Мак проходил четыреста миль; работать большее количество часов в день было запрещено законом, хотя кто из нас не нарушает законы? Всего он на грузовике, с небольшими перерывами, двенадцать лет, а с Говардом на пару – шесть месяцев. Ему тридцать два года, живет во Флориде, у него жена и двое детей, и в год он зарабатывает тридцать пять тысяч.

Из школы Мак убежал, когда ему было двенадцать. Выглядел он старше своих лет, а потому стал путешествующим коммивояжером. В семнадцать стал полицейским, а в двадцать уже имел славу эксперта по огнестрельному оружию. В том же году он попал в перестрелку и едва избежал выстрела в лицо, в упор. Тогда-то нервы его сдали, и он решил стать водителем, хотя до сих пор остается почетным сотрудником полиции Флориды, в знак чего ежегодно получает один доллар.

– Ты когда-нибудь участвовал в перестрелке? Нет? А я бывал, и столько раз, что и не припомню – и как полицейский, и уже водителем. Если заглянуть под сиденье, то там спрятан мой «друзжок». Пушки есть у всех, кто ездит по дорогам. Хотя лучшее оружие в драке без оружия – это кусок фортепианной струны. Если захлестнешь ее петлей на шею противника – он уже ничего не сделает. Стоит потянуть струну – голова и отвалится. Это как сыр резать. – Мак проговорил это с явным удовольствием.

Чего он только ни возил в своем грузовике – и плоды опунции, и даже динамит. Теперь возит только мебель, хотя сюда может попасть вообще что угодно из обстановки. Сейчас у него в фургоне обстановка семнадцати жилищ, включая семьсот фунтов разных гирь и колец для штанги (имущество бодибилдера, который переезжает из Флориды), рояль из Германии, лучший из тамошних лучших, десять телятников (прошлой ночью на остановке они один сняли и включили) и старинная кровать с балдахином, которую нужно доставить в Филадельфию. При желании в ней можно в любое время поспать.

Кровать с балдахином вызывала в Маке ностальгические воспоминания, и он принялся рассказывать о сексуальной стороне своих приключений. Похоже, всегда и везде он пользовался невероятным успехом у женщин, хотя его симпатии были отданы лишь четверем. Это была девица из Лос-Анджелеса, которая удрала из дома в его грузовике, а он и не знал. Потом были две девственницы из Вирджинии; он переспал с обеими одновременно, а потом они много лет снабжали его одеждой и деньгами. И наконец, была нимфоманка из Мехико, которая могла за ночь переспать с двадцатью мужиками и требовать еще.

Он постепенно разогревался, недавняя скромность исчезала. Наконец Мак явился в своем полном блеске: Сексуальный Атлет и Великий Рассказчик. Для одиноких женщин он был даром Господним.

Именно в процессе этой декламации Говард, который лежал на заднем сиденье в каком-то вялом ступоре, наострил уши и начал выказывать первые признаки оживленности. Увидев это, Мак принялся было подшучивать над парнем, а потом и вообще подстрекать: сегодня на ночь, говорил Мак, он притащит в кабину девчонку, а его, Говарда, запрет в фургоне. А если Говард будет вести себя как надо, то он обязательно найдет ему настоящую девку (слово «девка» Мак произносил с двойным «ф»: «деффку»). Говард раскраснелся, от волнения дыхание его участилось; наконец, почти обезумев, он бросился на Мака.

Пока они возились в кабине, наполовину в шутку, наполовину всерьез, баранка грузовика болталась из стороны в сторону и машина опасно виляла по полосе шоссе.

Но между такими потасовками Мак еще и занимался, на неформальных основаниях, образованием Говарда.

– Ну-ка, Говард, скажи, – начинал он, – как называется столица штата Алабама?

– Монтгомери, грязный ублюдок!

– Именно так. Не всегда столицей делают самый большой город штата. А теперь посмотри: вот дерево, называется орех-пекан.

– Пошел к черту, мне плевать! – ворчал Говард, но тем не менее поворачивал голову в нужную сторону. Часом позже мы свернули на стоянку где-то в самых дебрях Алабамы – Мак решил, что именно здесь нам лучше провести ночь. Местечко называлось «Счастье дороги».

Мы вошли, чтобы выпить кофе. Мак сел, полный решимости хорошенько развлечь меня «забавными историями», которых у него был неиссякаемый запас, но которые мало соотносились с его жизненным опытом. Исполнив эту свою дружескую обязанность, он отошел в сторону и присоединился к толпе других водителей, стоящих у музыкального автомата.

В субботу по вечерам водители грузовиков всегда толпятся возле музыкальных автоматов и отчаянно пытаются сделать так, чтобы репертуар этих машин хоть как-то соответствовал их профессиональным интересам. Музыкальный автомат в кафе «Счастье дороги» пользовался у них доброй славой – он содержал великолепную коллекцию песен и баллад о водителях и их больших грузовиках, своеобразный эпос большой дороги: дикий, порой непристойный, порой полный меланхолии и тоски, но всегда пропитанный энергией и ритмом, которые порождены поэзией скорости и бесконечных дорог.

Водители большегрузных машин обычно – одинокие люди. И тем не менее порой где-нибудь в жарком переполненном придорожном кафе, внимая какой-нибудь слышанной-переслышанной пластинке, вопящей из динамика музыкальной машины, они вдруг превращаются,

без всяких слов или действий, из безликой толпы в гордое своим предназначением в этом мире сообщество мужчин. Каждый сохраняет свою анонимность, но при этом чувствует общность с теми, кто стоит рядом, плечом к плечу, равно как и с теми, кто был здесь раньше и уже стал героем водительских песен и баллад.

Мак с Говардом сегодня, как и все, переживали состояние восторженного единения с другими, чувство гордости – за себя и товарищей по профессии. Они словно забыли о времени, погрузившись в вечность. Но где-то около полуночи Мак резко встрепенулся и дернул Говарда за воротник.

– Оки-доки, малыш! – сказал он. – Пора поискать местечко поспать. Хочешь почитать перед сном молитву водителя?

Мак достал из записной книжки засаленную карточку и протянул мне. Я разгладил ее ладонью и прочитал вслух:

О Боже, дай мне сил добить маршрут  
И заработать денег целый пуд.  
Ты от прокола шин избавь меня,  
Пошли покой мне на исходе дня.  
Ты без потерь позволь пройти весы,  
От копа полоумного спаси.  
И сделай так, чтобы на выходных  
Подальше от больших колес моих  
Держались бы водитель-ученик  
И дама за рулем. Хоть я привык  
И к голоду, и к стуже, но пускай  
Поутру сэндвич ждет меня и чай,  
Покрепче кофе к вечеру в кафе,  
Послаще телка к ночи на софе.  
Коль от тебя все это получу,  
Лет сто еще баранку покручу.

Свои одеяло и подушку Мак разложил в кабине, Говард забрался в узкую щель между мебелью, а я улегся на кипу мешков рядом со своим мотоциклом (обещанная кровать с балдахином находилась в голове фургона и была недоступна).

Я закрыл глаза и прислушался. Мак и Говард перешептывались, используя твердую стенку фургона в качестве проводника голоса. Мое ухо стало антенной; приложив его к решетчатой раме, я смог различить и прочие звуки, плывущие на нас от других машин: водители шутили, пили, кто-то занимался любовью.

Чувствуя себя совершенно умиротворенным, я лежал в этом черном аквариуме, наполненном звуками, и вскоре уснул.

В воскресенье на стоянке «Счастье дороги», как и по всей Америке, был выходной. Когда я проснулся, на меня сквозь прозрачный пластик крыши смотрело небо, я ощущал запах соломы, мешковины и кожи; последний шел от куртки, которая служила мне подушкой. Не сразу сообразив, где нахожусь, я решил, что ночевал в каком-то большом амбаре, но потом вдруг все вспомнил.

Раздалось мягкое журчание, которое началось внезапно, а закончилось постепенно, двумя маленькими финальными струйками. Кто-то помочился на колесо грузовика; нашего грузовика, вдруг подумал я почти по-хозяйски. Выбравшись из-под мешковины, я на цыпочках прокрался к двери и выглянул. Исходящий паром след вел от колеса к земле – свидетельство преступления; сам же преступник успел улизнуть.

Было семь часов утра. Я устроился на высокой ступеньке кабины и принялся писать в дневнике. Потом на страницу упала тень; я поднял глаза и узнал водителя, которого видел вчера мельком в прокуренном кафе. Его звали Джон – этакий блондинистый Лотарио, только не из романа Сервантеса, а из компании «Мейфлауэр Транзит». Не исключено, что именно он осквернил наше колесо. Мы немного поболтали, и он сообщил, что вчера выехал из Индианаполиса, причем там шел снег. Индианаполис был нашей следующей остановкой.

Через несколько минут явился еще один водитель, коротенький толстяк в цветастой рубашке, компании «Апельсиновые соки “Тропикана”» из Флориды. Наполовину расстегнутая рубашка обнажала волосатое пузо.

– Господи, – бормотал он, – ну и колотун. Вчера в Майами было девяносто.

Подшли еще люди, и завязалась беседа о маршрутах и путешествиях, горах и океанах, равнинах, лесах и пустынях, снеге, граде, грозах и циклонах – обо всем, с чем можно было столкнуться в течение только одного дня. Сегодня, как и в любой другой день, здесь, на стоянке «Счастье дороги», жил полной жизнью мир странствий и необычного, уникального опыта.

Пройдя в конец фургона, я заглянул внутрь через полукрытую дверь и увидел Говарда. Он спал в своей нише. Рот его был приоткрыт, глаза тоже. Я вздрогнул – а вдруг он умер ночью? Но заметив, как он дышит и слегка шевелится во сне, я успокоился.

Через час проснулся Мак. Встрепанный и взъерошенный, он выполз из кабины и, неся под мышкой большой кожаный саквояж, исчез в направлении подсобки, устроенной на стоянке. Когда несколько минут спустя Мак явился перед нами, он был вымыт и выбрит, нарядно и чисто одет. Одним словом, готов для божьего дня.

Я присоединился к нему, и мы отправились в кафе.

– А как насчет Говарда? – спросил я. – Разбудить?

– Не нужно. Пусть малыш поспит.

Мак явно хотел поговорить без свидетелей.

– Если его не разбудить, – проговорил он, склонившись над завтраком, – он может проспать целый день. Он хороший парень, но не слишком сообразительный.

Они встретились за шесть месяцев до этого. Говард, двадцатитрехлетний бродяга, пробудил в Маке жалость. Десять лет назад мальчишка убежал из дома, и его отец, известный детройтский банкир, почти ничего не предпринял, чтобы вернуть сына домой. Он жил на дороге и возле нее, много странствовал, брался за случайную работу, иногда попрошайничал, иногда воровал, благополучно избегая церквей и тюрем. Ненадолго попал в армию, но был комиссован как умственно неполноценный. Мак однажды нашел его в своем грузовике и «усыновил» – брал во все поездки, показывал страну, учил паковать груз в тюки и тару (а также учил говорить и действовать), регулярно платил зарплату. В конце поездки, по возвращении во Флориду, Говард оставался в семье Мака и имел статус младшего брата.

За второй чашкой кофе лицо Мака стало сумрачным.

– Ему еще недолго быть со мной, как я думаю, – сказал он. – Может, я и сам недолго буду водить.

Он рассказал, что несколько недель назад у них был странный случай. Мак вдруг вырубился и загнал грузовик в поле. Страховку оплатили, но страховая компания потребовала, чтобы он прошел медицинское освидетельствование. Кроме того, он не должен ездить с напарником – какими бы ни были результаты медицинских исследований. Мак боялся, что у него эпилепсия, что страховщики его в этом заподозрили, и освидетельствование таким образом будет означать конец его водительской карьеры. Чтобы быть ко всему готовым, он уже рассмотрел себе новую работу в Новом Орлеане, в страховой компании.

В этот момент подошел Говард, и Мак быстро поменял тему.

После завтрака Мак и Говард сели на старую крышу и принялись швырять камни в деревянный столб. Вяло и бессвязно тек разговор – болтая о том и о сем, водители отдавались

воскресной праздности. Через пару часов им это надоело; забравшись в грузовик, они снова заснули.

Вытащив из фургона пару мешков из джутовой ткани, я устроился позагорать среди разбитых бутылок, колбасных очисток, остатков еды, пустых пивных банок, использованных презервативов и невероятного количества рваной бумаги. Местами через весь этот мусор пробивались ростки дикого лука и люцерны.

Пока я лежал, дремал или писал, мои мысли неоднократно обращались к еде. Позади меня в пыли возилась стайка тощих кур, на которых я посматривал с затаенной надеждой. Дело в том, что еще утром Мак помахивал в сторону этих тщедушных созданий своим пистолетом (очень солидно выглядевшая автоматическая пушка) и говорил с довольным смешком:

– Вот и ужин на сегодня!

Время от времени я вставал размять ноги, выпить три-четыре чашки кофе и съесть мороженое с черным орехом (любовь в этому лакомству в конечном счете и привела меня к нынешним цифрам – двадцать восемь процентов чистого жира в организме по сравнению с нормой – семью процентами).

Также я частенько заглядывал в туалет при подсобке – от вчерашних стручковых перцев, которыми угостил меня Мак, у меня развилась сильнейшая диарея.

В маленькой комнатке туалета стояло целых пять автоматов, торгующих презервативами, – интересный пример того, как коммерческий интерес следует за мужчиной туда, где он справляет самые интимные свои потребности. Стоимость этих прелестных изделий (сопровождаяемых способной вызвать восторг рекламой: «упакованы с помощью электроники и запечатаны в целлофан; эластичны, обостряют чувствительность, абсолютно прозрачны») была полдоллара за три штуки, или, как немного нелепо додумались переиначить это продавцы, по «ТРИ ШТУКИ НА КУКОЛКУ»<sup>16</sup>. Также здесь стоял автомат «Пролонг», выдававший анестезирующую мазь, которая, как было сказано, «способствовала предотвращению преждевременной эякуляции». Правда, Джон, местный «белокурый Лотарио», носитель исчерпывающей информации по всем вопросам сексуальной жизни, сказал, что мазь от геморроя гораздо лучше. «Пролонг» слишком сильный – никогда не знаешь, кончишь ты вообще или нет.

После ланча Мак неожиданно заявил, что останется в «Счастье дороги» еще на одну ночь. Его лицо расплывалось в довольной, намеренно таинственной улыбке – вне всякого сомнения, снял какую-нибудь Сью или Нелл и теперь притащит ее ночью в кабину. В атмосфере интриги Говард вел себя, как возбужденная собака. Несмотря на всю его бравату, я подозревал (и Мак это подтвердил), что у него ни с одной девицей так ничего и не было. Мак время от времени добывал ему партнершу, но Говард – столь горластый в отношении своих воображаемых побед – сразу, как только сталкивался с реальностью, становился одновременно застенчивым и грубым и в последний момент все портил.

Вернувшись к своим запискам и кофе, я иногда вставал размяться и с интересом разглядывал водителей, большинство из которых храпели в своих кабинах; я сравнивал их физиономии, а также позы, в которых их сморил сон.

В начале пятого небо на востоке начало светлеть – неторопливо и словно нерешительно. Один из водителей, проснувшись, прошел к туалету. Вернувшись к машине, он проверил груз, залез в кабину и захлопнул дверь. Зарычал двигатель, и грузовик, погромыхая, медленно выехал со стоянки. Другие грузовики продолжали тихо спать.

К пяти часам вновь рожденное утро принялся омыwać мелкий моросящий дождь. Один из взъерошенных петушков местного куриного племени поднял шум, и тут же из травы поднялся писк и треск насекомых.

---

<sup>16</sup> Doll – сокр. от dollar – «кукла». – *Примеч. пер.*

Шесть часов, и кафе наполняется ароматом оладий масла, бекона и яиц. Пожелав мне удачи в моих странствиях по Америке, уходят ночные официантки. Появляется дневная смена и улыбается, увидев меня сидящим за столом, который я занимал весь вчерашний день.

Теперь я могу приходить и уходить, когда захочу. Более того, я ни за что больше не плачу. В последние тридцать часов я выпил более семидесяти чашек кофе, и этот рекорд предполагает солидную скидку.

Восемь часов. Мак и Говард только что поспешили в Колман, чтобы помочь людям из «Мейфлауэр» разгрузиться. Умчались они непривычно быстро – не помылись и даже не позавтракали. Саквояж Мака будет отдыхать, я думаю, всю неделю.

Я забрался в кабину, только что покинутую Маком и еще теплую от его влажного спящего тела, укрылся старым потертым одеялом и через мгновение уже спал. В десять меня разбудила канонада дождя, который лупил по крыше кабины; Мака и Говарда все еще не было.

Они наконец появились в половине первого, уставшие и забрызганные грязью, – с разгрузкой пришлось возиться в грозу.

– Господи! – проговорил Мак. – Как я вымотан! Давайте поедим и через час – едем.

Это было три часа назад, а мы все еще никуда не двинулись. Они и курили, и хвастались, и занимались пустяками, и приставали к официанткам – так, словно в запасе у них была тысяча лет жизни. Обезумев от нетерпения, я залез со своими записными книжками в кабину. Джон-Лотарио попытался меня обнадежить:

– Не беспокойся, малыш! Если Мак сказал, что будет в Нью-Йорке в среду, то он там будет – даже если зависнет здесь до вечера во вторник.

После проведенных на стоянке сорока часов я знаком здесь со всем до мелочей. Знаю целую толпу разного народа, их симпатии и антипатии, то, над чем они шутят, и то, что они на дух не переносят. А они знают все про меня – или думают, что знают, и снисходительно называют меня «док» или «профессор».

Я лично знаком со всеми грузовиками; мне известен их тоннаж и характер груза, сильные стороны и капризы, а также отличительные особенности.

Все официантки в кафе мне также хорошо знакомы: Кэрл, хозяйка, щелкнула меня своим «Полароидом» в компании со Сью и Нелл. Так я и останусь среди ее прочих фотографий на стене – с небритой физиономией и глазами, выпученными на вспышку. Да, я нашел свое место среди тысяч ее братьев, бойфрендов, которые во время долгих маршрутов по стране заезжают к ней и вновь ее покидают.

– Да! – будет говорить она в будущем какому-нибудь озадаченному посетителю. – Это Док. Классный парень, хотя и немного странный. Он приехал с Маком и Говардом, вот с этими. Я часто думаю: что с ним случилось?

## «Побережье мускулов»

В июне 1961 года я наконец приехал в Нью-Йорк и, заняв денег у двоюродного брата, купил новый мотоцикл, «БМВ» R-60 – самый надежный из всех моделей марки. Мне больше не хотелось иметь дела с подержанными мотоциклами, подобными моему последнему R-69, на который какой-то идиот установил не те поршни, их-то и заклинило в Алабаме.

Несколько дней я провел в Нью-Йорке, а потом большая дорога вновь позвала меня. То ускоряясь, то замедляя движение, я возвращался в Калифорнию, оставляя за собой тысячи миль асфальта. Шоссе были волшебны безлюдны, и, пересекая Южную Дакоту или Вайоминг, я часами мог не встретить ни одного человека. Бесшумный ход мотоцикла, легкость движения – все это сообщало магический, полуфантастический характер моему путешествию.

Между человеком и мотоциклом устанавливается тесный союз, поскольку эта машина так точно и тесно связана с нашим ощущением собственного тела, что на все движения и позы езды отвечает так, словно является его органичной частью. Ездок и мотоцикл являют собой единую и неделимую сущность – так же ты ощущаешь свое единение с лошадью. Автомобиль – нечто совершенно иное.

В Сан-Франциско я приехал в конце июня, как раз вовремя, чтобы сменить кожаный наряд байкера на белый халат интерна в больнице Маунт-Цион.

Во время своего долгого путешествия я ел от случая к случаю, а потому похудел. Но я также, если это было возможно, ходил в гимнастические залы и весил меньше двухсот фунтов, а потому был в отличной форме – чем и хвастался, когда в Нью-Йорке в июне демонстрировал свое новое тело и свой новый мотоцикл. Но когда я вернулся в Сан-Франциско, я решил «поднабрать веса» (как говорят штангисты) и попробовать установить рекорд в поднятии штанги, который, как мне казалось, был вполне достижим. Набрать вес в Маунт-Ционе оказалось несложно, потому что кафе при больнице предлагало двойные чизбургеры и огромных объемов молочные коктейли, причем для интернов и жившего при больнице персонала – бесплатно. Поедая по пять двойных чизбургеров и выпивая полдюжины коктейлей в день, а также интенсивно тренируясь, я быстро набирал вес, перейдя из полутяжелой весовой категории (до 198 фунтов) в тяжелую (до 240 фунтов) и сверхтяжелую (без ограничений). Я рассказывал об этом родителям, как рассказывал им обо всем, и был удивлен их обеспокоенностью – ведь мой отец был далеко не легковесом и весил за 250 фунтов<sup>17</sup>.

В 1950-е годы в Лондоне, еще будучи студентом-медиком, я занимался поднятием тяжестей. Тогда я ходил в «Маккаби», еврейский спортивный клуб, и мы соревновались в поднятии тяжестей с другими спортивными клубами, причем в трех видах: подъем на бицепс, жим лежа и глубокое приседание со штангой (колени полностью согнуты).

Совершенно иначе выглядели олимпийские виды: жим, рывок и толчок, и в нашем клубе были штангисты мирового класса. Один из них, Бен Хелфготт, был капитаном английской команды штангистов на Олимпийских играх 1956 года. Мы стали хорошими друзьями (и даже сейчас, когда ему за восемьдесят, он сохраняет недюжинную силу и подвижность)<sup>18</sup>.

Я пробовал заниматься олимпийскими видами, но выяснилось, что я слишком неловок. Исполняемые мною рывки были потенциально опасными для тех, кто оказывался вокруг меня, и мне недвусмысленно, прямым текстом, предложили отказаться от олимпийской программы и вернуться к обычному поднятию тяжестей.

---

<sup>17</sup> Мой отец, пока была еда, мог есть безостановочно, но мог также и целый день обходиться без пищи, если таковой не было. То же самое и со мной. В отсутствие внутренних механизмов контроля я должен полагаться на внешние. У меня четкое расписание приема пищи, и я не выношу никаких отклонений от заведенного порядка.

<sup>18</sup> Достижения Хелфготта кажутся тем более выдающимися потому, что он пережил лагерь Бухенвальд и Терезиенштадт.

Кроме «Маккаби», время от времени я посещал центральное здание ИМКА в Лондоне, где имелся зал для поднятия тяжестей, которым руководил Кен Макдональд, когда-то выступавший на Олимпийских играх за Австралию. Кен и сам весил немало, особенно благодаря своей нижней части; у него были огромные бедра, и он был мастером мирового класса в приседании со штангой. Я восхищался этой его особенностью и хотел иметь точно такие же бедра, а кроме того – развить силу спины, необходимую для приседания и подъема тяжести над головой. Кен более всего любил дедлифт на прямых ногах – вид, который словно специально создан (если эти виды вообще для чего-нибудь созданы) для нанесения повреждений спине, поскольку вес полностью фокусируется на поясничном отделе позвоночника, а не на ногах, как положено. Когда я достаточно усовершенствовал свои навыки, Кен пригласил меня поучаствовать вместе с ним в состязаниях: мы должны были по очереди исполнять дедлифт. Кен поднял семьсот фунтов, я – только пятьсот двадцать пять, но и это мое достижение было встречено аплодисментами, отчего я почувствовал удовольствие и гордость, – несмотря на то, что я был новичком, мне выпала честь участвовать в установлении нового рекорда в дедлифте. Но удовольствие мое длилось недолго, поскольку через несколько дней меня поразила такая сильная боль в нижнем отделе спины, что я едва мог двигаться и дышать. Рентген не показал никаких повреждений, а боль и спазмы сами собой через несколько дней ушли. Но на последующие сорок лет мне были периодически гарантированы внезапные атаки мучительной боли (по какой-то причине они оставили меня, когда мне исполнилось шестьдесят пять; а может быть, их просто сменил ишиас).

Я был восхищен системой тренировок, которой следовал Кен, а также особой, преимущественно жидкой, диетой, которую он разработал для увеличения веса. Он приходил на тренировки с полугаллоновой бутылкой, наполненной густой приторной смесью патоки и молока с добавлением различных витаминов, а также дрожжей. Я решил сделать то же самое, но не учел, что дрожжи через какое-то время заставляют сахар бродить. Когда я вытащил бутылку из гимнастической сумки, она была угрожающе раздутой. Ясно, что сахар забродил под воздействием дрожжей; я сделал смесь заранее, за несколько часов, в то время как Кен впрыскивал дрожжи в бутылку прямо перед приходом в зал. Содержимое бутылки было под мощным давлением, и я немного испугался, словно я неожиданно оказался владельцем мощной бомбы. Я думал, что, если я немного отверну пробку, произойдет мягкое снижение давления, но как только я ее чуть-чуть ослабил, она слетела, и полгаллона липкой черной грязи, к этому моменту уже пахнувшей алкоголем, вылетело из бутылки подобно гейзеру и накрыло всю площадь зала. Раздался хохот, который сменился всеобщей яростью, и мне со всей суровостью запретили приносить в зал что-либо, кроме воды.



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.